

Юлия Ёзик

*Беслан – это еще одна ступенька в ад.*

*Это – наш мир, открывшийся  
изумленным детским глазам, прозревшим,  
какие мы на самом деле.*

*Слепые и жестокие, лживые и холодные,  
совершенствующие свои машины,  
свои компьютеры, но не самих себя.*

*В чем уникальность этой книги?*

*Ведь можно спросить: ну, еще одна книга о смерти,  
о нестерпимой трагедии?!*

*Нет, это не так.*

*Эмоциональная уникальность этой книги в том,  
что она не о смерти, а о любви.*

Светлана Алексиевич

Юлия Ёзик

БЕСЛАНСКИЙ СЛОВАРЬ

# БЕСЛАНСКИЙ СЛОВАРЬ



УДК 882-360  
Ю 20

«И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — сила, а утешителя нет.

И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе...»

«Екклезиаст», книга Царя Соломона, Ветхий Завет

*Художественное оформление  
Григория Златогорова*

Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересуется вами.

Лев Троцкий

Ю 20 Юзик Ю. Бесланский словарь. — М.: Захаров, 2006. — 160 с.

Эта книга — не о смерти, хотя о ней здесь говорят практически все. Она — о любви. О жизни. О чувствах. Обо всем этом рассказывают только сами участники этих трагических событий.

«Бесланский словарь» записан и составлен Юлией Юзик, чья первая книга «Невесты Аллаха», рассказывающая о чеченских смертницах-шахидках, вышла уже в девяти странах.

ISBN 5-8159-0585-2

УДК 882-360

© Юлия Юзик, автор, 2006  
© Ирина Богат, издатель, 2006

## *Свидетельства любви*

Эту книгу невыносимо читать и нельзя, открыв первую страницу, не дочитать до конца. Невозможно потом забыть, хотя мы уже приучены к ежедневному (я не оговорилась!) зрелищу зла. Голосу зла. Оно даже стало банальным и театральным, уже можно заметить, как профессионально прослеживаются и поощряются признаки его красоты и вдохновения, и мы внимаем ему наравне с рекламой за чашкой утреннего кофе. Кричит телевизор, мелькают газетные заголовки... Но мы опять-таки как-то ухитряемся с этим жить и, нечего притворяться, — живем, как обычно.

Может быть, в этом виновата наша история, которая, как иногда видится в отчаянии, добывает из времени только страдание, и нечем другим утешиться и укрепиться. Немного собрали мы в своей культуре другого знания о жизни, куда ни взглянешь, куда ни пойдешь — слезами умрешься. Но что-то в последнее время коренным образом поменялось в этой картине мира, и я не раз пыталась понять: что?

Ранее... а точнее, до сентябрьских взрывов в Нью-Йорке, зло изгонялось из центров мира на периферию, — в XX веке в Россию, на Балканы... Но после нью-йоркского сентября его призраки везде и всюду, нигде уже не спрятаться, не отсидеться и не почувствовать себя защищенным наблюдателем. Не башни-близнецы взорвались той трагической осенью, а взорвался наш мир. Страх у всех стал главным содержанием жизни. Новым химическим элементом. Страх и, я бы еще добавила, постоянно преследующее чувство бессилия — трудно победить зло, которое везде. Трудно его объяснить, хотя с этим можно и поспорить: зло никогда не было до конца объяснимым, но сейчас, — и в этом отличие, — оно стало еще необъяснимее и тотальнее, темнее и прозрачнее одновременно. Какая-то совершенно неведомая вещь вплзает, вселяется в нас. Меняет и обнажает творимую на наших глазах новейшую историю. Если думать, что человек испугался самого себя, то испугался себя он уже давно. Когда был распят Христос...

## Юлия Юзик

А если ближе к временам и делам земным, то после первых газовых атак Первой мировой войны, а потом — после Освенцима. Но тогда все-таки оставалась вера, что можно изменить мир, создать лучшего человека, то есть победить зло, а вышло так, что зло изменило нас. Само же осталось неизменной величиной. И мы еще даже не догадываемся, до какой степени оно нас изменило, нарушило замысел Создателя. Каждый из нас, где бы он ни жил, — в Европе, Москве, Австралии или Арктике, — думает об этом и ищет свои ответы.

Свои ответы есть и у автора этой книги, и у ее героев. Имя трагедии, о которой здесь рассказано, — Беслан. Беслан — это когда миллионы взрослых мужчин и женщин в течение нескольких дней по всем телеканалам мира смотрели, как умирали дети. Как убивали детей. Целую школу. И никто не сошел с ума. Беслан — это когда учатся пить свою мочу вместо воды. Беслан — это когда учатся засыпать в луже крови... все, что осталось от убитого отца. Беслан — это когда учатся ненавидеть вместо того, чтобы учиться любить. Беслан — это... Беслан — это еще одна ступенька в ад. Это — наш мир, открывшийся изумленным детским глазам, прозревшим, какие мы на самом деле. Слепые и жестокие, лживые и холодные, совершающие свои машины, свои компьютеры, но не самих себя.

В чем уникальность этой книги? Ведь можно спросить: ну, еще одна книга о смерти, о нестерпимой трагедии?! Нет, это не так. Эмоциональная уникальность этой книги в том, что она не о смерти, а о любви. О чем бы дети ни рассказывали, что бы ни видели, ни пережили, они все равно говорят языком любви, потому что еще чисты и невинны, как ангелы. А еще в этой книге сияет мир цветной и задуманной для радости кавказской жизни. Это особый мир — пейзаж, старик, горы, вода, язык Кавказа. Для думающего читателя, признаюсь, это еще одна пытка — пытка красотой, которая постоянно соседствует с ужасом. Вопрос к себе и к русской литературе: что же красота (такая красота!) нас не спасает? Но надежда все-таки теплится — когда-нибудь да спасет. Хотя бы одного человека. Одно сердце, одну душу. А вдруг — твою? Спасет от молчания... От молчаливого соучастия... И не только прошлого, но и будущего.

Светлана Алексиевич

## Историческая справка:

1 сентября 2004 года линейка в школе №1 г. Беслан началась на час раньше положенного: всех учеников предварительно обзванивали классные руководители с просьбой прийти на линейку к 9 часам утра.

Многие школьники пришли с родителями, младшими братьями и сестрами: по странному стечению обстоятельств, в то утро все детские сады и ясли г. Беслана оказались закрытыми, и матери были вынуждены взять их с собой в школу. Как отмечают очевидцы, праздничная линейка в том году была самой многолюдной за всю историю.

Примерно в 9 часов 20 минут утра в школьном дворе появились люди в масках, стреляющие в воздух из автоматов. Они объявили о захвате школы и стали сгонять заложников в спортзал. Как отмечают заложники, напавших боевиков было очень много, примерно несколько десятков человек, и часть из них уже ожидала детей внутри школы.

В ходе предварительного подсчета выяснилось, что в школе находится около 1300—1500 человек, большинство из которых дети. Тем временем российские СМИ огласили совсем другую цифру: около 120 заложников. В первые часы почти никто в России вообще не понимал, что происходит в Беслане. Только к вечеру первого дня, когда в школе счет убитых уже шел на десятки, российские власти официально объявили о том, что чеченские террористы захватили 354 человека и не выдвигают никаких требований.

Тем временем около полутора тысяч человек содержались в тесном спортзале бесланской школы в нечеловеческих условиях. Они были лишены еды, а на второй день — еще и воды. Люди сидели на кирточках в душном помещении, температура за окном — около 30 градусов жары. На второй день дети стали пить собственную мочу и есть

Юлия Юзик

*цветы, которые были принесены на праздничную линейку. Требования террористов — вывести войска из Чечни — властями России игнорировались, а СМИ было запрещено доводить их до сведения общественности.*

*На исходе вторых суток в зале стали умирать люди. Третьего сентября спецслужбы России предприняли штурм школы №1. Извне был произведен залп, который и спровоцировал взрыв внутри. После первого взрыва произошло еще несколько сильнейших взрывов. Большинство заложников были тяжело ранены и не могли самостоятельно покинуть здание школы. Одновременно с первым взрывом поразительным образом воспламенилась и крыша спортзала; потолок начал плавиться и гореть, люди всыхивали, как факелы, и горели заживо. Заложники и эксперты утверждают, что российские военные использовали при штурме огнеметы «Шмель», запрещенные для применения международными конвенциями как оружие, наносящее чрезмерный ущерб и имеющее неизбирательное действие.*

*Прибывшие через некоторое время пожарные машины так и не начали тушить пожар, сославшись на то, что шланги слишком короткие для того, чтобы дотянуться ими до очага возгорания. Штурмовавшие вели ожесточенный бой с оставшимися в школе боевиками примерно до девяти вечера. Спецназ ФСБ понес рекордные за всю свою историю боевые потери — 12 убитых и около тридцати раненых (и это только по официальным данным), что говорит о невероятно высоком уровне подготовленности террористов. Таких потерь «Альфа» не несла даже при штурме дворца Амина в Афганистане.*

*После подведения итогов штурма, предпринятого ФСБ РФ, руководство республики объявило о создании нового — дополнительного — кладбища в г. Беслане. Через несколько дней на пустыре за городом было выкопано более 500 могил. Жертвы бесланской трагедии хоронили в течение нескольких месяцев, так как часть детей сгорела и от них остались лишь фрагменты, которые идентифицировались по ДНК в 124-й судебно-медицинской лаборатории в г. Ростове-на-Дону.*

*По официальным данным, в спортзале бесланской школы погиб 331 человек, из них 186 — дети.*

*В эту статистику не вошли скончавшиеся от тяжелейших ран и увечий, погибшие после официальной даты штурма (3 сентября), а также умершие вслед за детьми родные, не перенесшие горя потери.*

*Последняя — 332-я — официальная жертва бесланской бойни, 30-летняя Марина Жукаева, скончалась 1 августа 2005 года, не приходя в себя после годовой комы. Две ее дочери остались сиротами.*

*Голоса,  
которые записаны и приведены в этом словаре,  
принадлежат:*

Марине Пак, матери погибшей в школе 12-летней Светланы Цой; Римме Торчиновой и Александру Гумецову, родителям погибшей 12-летней Азы Гумецовой; Салимат Сулеймановой, матери погибшего в школе 7-летнего Шамиля Сулейманова; Залине Бероевой, матери погибших Сослана и Аслана Бероевых; Светлане Бероевой, бабушке погибших; Анете Гадисовой, заложнице, матери погибшей в школе 9-летней Аланы Доган; Алле Батаговой, матери погибшего в школе Тимура Батагова; Бэлле Губиевой, 12-летней заложнице; Светлане Албеговой, бабушке погибшей в школе Залины Албеговой; Маирбеку Дахову, мужу погибшей учительницы Эммы Каряевой; Светлане Дрюковой, жене погибшего Сергея Дрюкова; Владимиру Дрюкову, заложнику; Лидии Ходовой, заложнице; Эмме Бетровской, матери Аслана, Алана и жене Руслана Бетровских, погибших в школе; Ирине Хаевой, матери погибшей 12-летней Эммы Хаевой; Томе Хаевой, сестре; Солтану Цховребову, директору ритуального бюро №1 г. Владикавказа; Зифе Агаевой, матери погибшего Георгия Агаева; Казбеку и Амрану Годжиевым, братьям, заложникам; Виктории Гусейновой, заложнице; Лене, матери погибшей 24-летней Инги Гукаевой; Алле Рамоновой, матери погибшей Марианны Рамоновой; Оксане Арчеговой, заложнице, вдове; Марине Кисиевой, потерявшей в школе мужа Артура и сына Аслана, ... и многим, многим другим.

Во время работы над книгой автором было записано более ста интервью, но лишь немногие из героев дали свое согласие на упоминание их имен. Автор, сохранив тайну исповеди, все-таки позволил себе использовать некоторые их монологи и выражает огромную признательность за оказанное доверие всем, кто помог в создании этого «Словаря».

# A

*ангелы*

«Вечером второго сентября я ненадолго заснула. А проснувшись, увидела вокруг себя незнакомых детей... Какой-то мальчик, сидевший рядом со мной, рассказывал историю. И все слушали его как заколдованные.

Он рассказывал, что видел ангелов. Несколько дней назад вышел на балкон и увидел, как они медленно летят по сиреневому небу. Ангелы были в белых платьях, с розовыми и золотистыми шлейфами, они смеялись и играли на дудочках.

— Когда на Земле умирает ребенок, Бог забирает его к себе, дает ему крылья и превращает в ангела, — так сказал этот мальчик.

Когда он говорил, стояла такая тишина, что я слышала стук своего сердца. Мне вдруг показалось, что умирать совсем не страшно...

И когда кто-то сказал, что ангелов не бывает, все на него зашикали. Мы, конечно, уже думали о смерти: заканчивался второй день, мы уже перестали есть и пить, и трудно было дышать... Да, мы думали о смерти... И мальчик тоже думал. Поэтому он и стал рассказывать нам про ангелов. Мне показалось, что так он готовил нас к смерти, давал нам привыкнуть к этой мысли, успокаивал и не давал отчаяться».

*Бэлла, 12 лет, заложница*

## Б

## беглянка

«На второй день я вышла с сыном в коридор и увидела там женщину — славянской внешности, блондинку, с длинными, собранными в хвост волосами. На ней был военный комбинезон, а на голове — повязка с арабской надписью. Она стояла и курила, придерживая одной рукой винтовку. Стопроцентно, она была снайпером... Я видела ее всего один раз... Среди убитых террористов ее не было, и никто вообще про нее нигде не упоминал».

*Зарина Пухаева, бывшая заложница, выступая свидетелем на суде по делу единственного бесланского террориста Кулаева*

«Когда первый взрыв произошел, мы сидели на лавках под окнами. Сразу все рухнули на пол. И одновременно — такая резкая боль в ноге и в груди. А шелохнуться страшно... Кругом — тишина мертвая. Тогда я голову поднимаю, смотрю: в баскетбольной корзине сетка разорвана, и одного из двух свертков уже нет. Слава Богу, думаю, что разорвался маленький, а не большой. И вот это замешательство... Все оглушенны, заторможены — словно кто-то нажал на кнопку «пауза»... Пока мы пытались опомниться, раздался второй взрыв — уже в другом конце зала... И следом громкий мужской голос: «Прыгайте в окна!» Женщины потом сказали, что это боевик крикнул. Все после этого словно проснулись и кинулись врассыпную!

Сын мой в окно выпрыгнул, и я за ним. Только встала, как с ног меня сбили... Все бегут, как стадо! Я упала, и подняться не могу — все бегут по мне, топчут ногами, руки давят... Ой, еле-еле собралась с силами... Поднялась... Подбежала, выпрыгнули мы...

Бежим, а нам солдаты путь указывают — туда, мол, бегите, все туда — и рукой указывают на профтехучилище. Бежим, согнувшись, над головой пули свистят — война настоящая... Прибежали в училище, так хоть рас slabиться чуточку можно было. И водички попить, и укол сделать. Все туда бежали — и мужчины, и женщины, и дети. Там всем первую помощь оказывали. А уже оттуда раненых в больницы забирали.

Ну вот, прибежали мы в училище, — а там настоящий полевой госпиталь. Носилки, бинты, врачи... На улице миллион машин — и легковушки, и БТРы... С сыном моим, слава Богу, все нормально было — маленькая царапина на лбу, а так — тьфу-тьфу... Я его осмотрела все-го, успокоилась, и тут впервые свою боль почувствовала... До самой себя очередь дошла. Нога т-а-ак заныла! Смотрю: а голень вся рассечена большим осколком, кровь хлещет, мясо наружу все вывернуто: мама дорогая! И грудь жечь стало... «Что такое?» — думаю. Рукой пытаюсь ее ощупать. Раз — и струйка крови из соска! Какой-то осколок отрикошил и застрял в груди...

Вот тут как-то мне и плохо стало. И боль ощущила, и кровь из меня уходила. Мой сосед меня как увидел, под руки подхватил: «В больницу, в больницу срочно!»

Выбегаем на крыльце — подлетает белая легковушка, ВАЗ; точно такой же, какой у нас в гараже стоит.

Остановилась напротив, дверцы распахиваются, и наш сосед меня прямо туда и сажает. Ничего странного: все, у кого машины были, в тот день в Беслане возили раненых в больницы. Вот и я села в ту машину... Только дверь захлопнула, машина с места и рванула. Я огляделась; смотрю: впереди сидят двое молодых мужчин, опрятно одетых, выбритых, плотного телосложения. Похожи на нацистов, но кто — осетины, ингуши, — не скажу, настолько хорошо я их не разглядела.

А рядом со мной сидела женщина... Она старалась на меня не смотреть, отворачивалась к окну все время... Но, знаете, я про себя тут же отметила, что внешность у нее славянская. Высокая, светлые волосы... Как будто краше-

ные — потому что корни волос были значительно темнее. И, знаете... прическа у нее такая была... без затей, просто срезанные до плеч волосы.

И эта женщина показалась мне какой-то неопрятной... Не скажешь, что она была такая же грязная, как мы — те, кто сидели в зале, — ну, мы же в саже, копоти, крови были, дети писались под себя... Боже, как мы воняли! От нее, конечно, не пахло так, но все же было в ней что-то неряшливое, несвежее... Как будто она долго не мылась... Или долго не меняла одежду... Понимаете, когда человек не дома ночует, а, например, в гостях, он наутро в несвежей одежде, какой-то помятый, да? Утром такой человек на работу придет, и все сразу заметят, что он ночь не дома провел. Вот и она была такая. Невыспавшаяся, несвежая, неопрятная.

Поэтому, как только ее увидела, я сразу и подумала, что она тоже в школе была.

Подумала я сначала, что она раненая, потом пригляделась: нет, целехонькая, без царапинки. Я так удивилась — чего, думаю, она в машине место занимает, ведь на него можно еще одного раненого посадить. И вперед еще кто-нибудь мог поместиться... А так — здоровые люди, и зачем-то все в машину набились, — вот так я подумала.

И вот эти мысли у меня в голове крутятся-крутились, и что-то от них совсем страшно стало мне...

Понимаете, когда мы бежали из школы, все люди, которые нас видели, хоть что-то спрашивали нас, что-то говорили... Какие-то эмоции, да?.. Ну, это же понятная человеческая реакция... А тут — ни слова. Ни звука. Даже друг с другом не разговаривают. Зловещая тишина... И машина несется на нечеловеческой скорости...

Смотрю: что-то мы не той дорогой поехали. Есть ведь дорога короче, прямиком к больнице! А они поехали по-другому, в объезд. Сначала через улицу Сигура, потом под мост — прямо по направлению к селу Зильги, наше село, но ближе к ингушской границе. Несутся туда, я-то

дорогу эту знаю!.. У меня даже ладони похолодели. Раз — дорога уже милицией перекрыта. Тогда они резко разворачиваются и едут к нефтебазе... Тут я понимаю, что больница их совсем не интересует, что они ищут какой-то выезд... Проезжаем мы нефтебазу и выскакиваем к перекрестку из четырех дорог. Направо — дорога на больницу, остальные три — на БМК, в Фарн и в город. Развилка, словом...

И тут я опять обращаю внимание на эту женщину: ну не дает она мне покоя, что-то в ней меня смущает. Почему молчит все время? Такая спокойная, сидит и вообще ни на что не реагирует. Я решилась с ней заговорить.

— Вы же тоже в школе были? — спрашиваю, а она даже как будто вздрогнула от моего голоса.

Оборачивается и смотрит так на меня странно, слегка прищурившись.

— Не-ет.

И тут же резко отворачивается, и — опять в окно. Затылок ее хорошо запомнила, — всю дорогу только его и видела.

Так она это сказала, что я сразу поняла, что как раз таки была она там. Мой вопрос ее из колеи выбил, что ли. Я сразу думать начала: зачем она врет?

Вот тут-то во мне страх и проснулся! Даже в школе такого ужаса не испытывала. Вопросы самой себе стала задавать. Почему их трое в машине? Кто они такие? Почему всю дорогу молчат? Почему она прятала лицо? Почему мы поехали не той дорогой? Это я потом услышала, что людей вот так в машинах и увозили, прикрываясь ими как щитом, а тогда я только испугалась до полусмерти и сидела, не в силах пошевелиться...

Последний переход мы с такой скоростью пролетели! Как они машину разогнали! Хотели быстрой проскочить через бугор и рвануть из Беслана, но перед ними стоял отряд милиции, и все три дороги были уже закрыты.

Милиционер прямо перед машиной стоял и сделал знак рукой: «Назад!»

Этот парень, что за рулем, так резко тормознул и развернулся, что я чуть не вылетела через лобовое стекло...

Подлетели они к «скорой», дверь мне открыли, я и выскошила. Ничего больше не успела я увидеть... Даже на номера не успела посмотреть...»

### *Лидия, заложница*

10

soda

«Больше всего в спортзале я думала о воде. Раньше я никогда не думала, что вода — самое ценное для человека. Без воды мы умирали. В первый день я думала о своей маме, которая осталась дома, и плакала, представив, что будет с ней, если я умру. А на второй и третий день я могла думать только о воде.

Хотя бы глоточек, хотя бы несколько капель!..»

Ирина, заложница

«Когда мы вырвались на свободу, я сразу побежал к колонке с водой. И залпом выпил 3-литровый баллон воды! Никогда не думал, что в меня столько поместится! А тут вода текла и текла, словно в пересохшую пустыню, — я ее даже не чувствовал. Только я закончил пить, как у меня началась жуткая рвота. И все три литра вышли наружу. После длительного обезвоживания воду можно пить ма-а-аленькими глоточками, и лучше — горячий чай, — так нас учила учительница, Галина Хаджимуратовна. Она погибла в школе и никогда уже даже глотка воды не сделает...»

*Амран, заложник, 14 лет*

60304

«Дышать в спортзале было нечем. Духота и вонь невыносимая. От испарений, пота, мочи голова отказывалась соображать. И тогда я придумала вот что: подошла к боевику и сказала, что мой сын астматик.

— Нам не нужна еда, не нужна вода. Он задыхается, может умереть без воздуха. Дайте нам немножечко просто подышать! Глотнуть воздуха!

Юлия Юзик

Он молча кивнул и разрешил нам выйти.

Выходу с сыном из спортзала, иду по коридору в дальний класс, где открыты окна. Дверь открывала — белая тонкая занавеска надувается, как парус. Мы даже дверь за собой оставили приоткрытой, чтобы сквозняк был. Глотаем воздух, и насытиться не можем. Воздух, простой свежий воздух!.. Никогда не думала, что воздух бывает так вкусен!.. Так дорог, дороже денег, дороже всего на свете!..»

Залина, заложница

«Мы ждали переговоров, как воздуха...»

Оксана Арчегова, заложница

### возвращение

«Я потеряла его из виду на третий день... Так-то они все время рядом сидели: Жорик и Саша. Мы все вместе были... А вот третий день... Самые кошмарные мои воспоминания... От обезвоживания у меня начались галлюцинации, я начала сползать на пол... Все помню обрывками, фрагментами... Все упывало... Вот в таком состоянии я их и потеряла.

Взрывы... Сама в тяжелом состоянии, изрешеченная осколками... Видите, как щеку осколком порвало. (*Поворачивается и показывает огромный темный шрам на левой стороне лица.*) Помню ощущения после взрыва: я глотаю свои зубы! Взрывной волной их выбило, и я чувствую, как они, застrevая, уходят в желудок...

Саша сразу нашелся: живой, ни царапинки... А Жорика мы нигде не могли найти... Долго, несколько месяцев... Как в воду канул... Вот тогда-то мы стали вслушивать о том, что его боевики увезли, прикрываясь им как щитом. Мы каждое тело, каждый ошметочек проверяли: его не было среди погибших! А куда он делился? Кто нам объяснит?

Что вы... Видели бы вы, что творилось вокруг школы третьего числа. Какое оцепление? Какое кольцо? Ложь это все, ложь, от которой меня уже тошнит... Все были предоставлены сами себе, бежали врасыпную, кто куда... А машин сколько было возле школы! Я и не думала, что во всем Беслане их столько наберется... Бежит мужик, глаза горят, на руках истекающий кровью ребенок: «Скорая», где «скорая»? Скорее!» Кто станет проверять, что за ребенок у него на руках, вы себе представляете?!

Вот так они все и сделали... Мастерски... Хватали наугад детей, отбившихся от матери, и, прикрываясь ими, вырывались на свободу... Нам сейчас пытаются закрыть рот. То меня, то мужа — в прокуратуру, в комиссию, к следователю. Сначала мягко просили, чтобы мы свои мысли не высказывали вслух, а теперь уже и не церемонятся. И днем, и ночью звонят: угрожают (*с усмешкой*).

А как только мы стали говорить то, что думаем, сразу мальчика нашего они и нашли. Звонят из Ростова: «Вот, оказалось, ваш сын среди неопознанных останков». Не было — не было, а тут так резко нашелся.

Привезли срочно гроб из Ростова, а он легкий такой... Что там — кто знает? Что там увидишь, в закрытом гробу? Обгорелые косточки, которые они наскребли в своей лаборатории? Они бумажку нам показывают: результаты генетической экспертизы, подтверждающие, что эти косточки в гробу — и есть наш Жорик.

Не верю я им, и никогда не поверю... После той лжи, которая лилась с самого первого дня, как можно им верить?

Я своего ребенка не видела ни раненым, ни мертвым... Он исчез еще там, в спортзале, накануне первого взрыва... Сколько мы искали его среди мертвых... Месяцы... И не нашли его там! Как я могу верить, что то, что они подсовывают мне, и есть мой сын?..

Юлия Юзик

Я сначала даже отказалась от того, чтобы хоронить то, что они нам выдали. Но они так нас прессовали, так они нас замучили... Поехала я на кладбище; гроб опускают, землей закидывают, а у меня внутри даже не дрогнуло ничего. Никаких чувств! Ноль... Чужое, сердцем чую: чужое, не мое.

Что они думают, кругом одни идиоты? Думают, что никто не знает, как они этих боевиков выпускали? Пеншек, шестерок дали на растерзание, а важных, ва-а-ажных-то вывели!.. Много их ушло... С нашими детьми...

Меня в городе безумной считают... Такие небылицы рассказывают — жуть просто... Это понятно: все родители расхватали эти закрытые гробы и поверили, что там их дети. А мы — словно белые вороны... Не так думаем, не то говорим... Статьи в газетах появились: почитаешь, так я точно умалишенная... Им, конечно, проще так: очернить нас, высмеять, чтобы остальные родители не засомневались... Мне плевать на них на всех. Вчера были в прокуратуре: следователь сидит передо мной — лощеный, выбритый, розовые щеки, как холодец, покачиваются... И так разговаривает со мной... Ха-а-ам... (*С болью.*) Какие же они хамы... Все эти следователи, чиновники, президенты — меня от них тошнит... Они ведут себя так, словно им все дозволено. Хамить, унижать, присыпать нам пустые гробы с чьими-то костями... Так, как власть, нас даже террористы не унижали...

Мы с мужем стараемся держаться... Сейчас очень сложный момент, нам нужно выдержать все, а потом... Потом все будет хорошо...

Потом Жорик вернется, и все будет, как раньше...

Как раньше... Больше всего хочу вернуть прошлое... То время, когда мы все были вместе... У меня два мальчика и девочка — ма-аленькая девочка... Все одинаково любимы, все мои, родные... Жорик был самым тихим, самым

чутким... И в то же время была в нем такая сердцевина... Сила... Мощь... (*Замолкает и вдруг радостно спохватывается.*) А как он лазал по деревьям! Маугли настоящий. Выйду в сад, на вершине яблони алеет спелое яблочко. «Жорик, сорви яблоко!» Прыг-прыг, — и уже слезает. Яблочко в руках несет. Он вообще такой спортивный был... Стойку на голове как делал! И мускулы такие серьезные на руках; подойдет: «Мам, попробуй!» — руку в локте сожмет... Бицепсы — как волна. Костю Цзю любил... Вся комната его фотографиями уклеена была. Присял меня:

— Мам, сделай мне такой же хвостик, как у Кости Цзю!

— Какой хвостик, ты что! В школе что скажут!

На день рождения попросил диск «Любэ». О-о-о, все песни наизусть знал... Он — маленький, но настоящий мужчина. Я с таким упоением наблюдала за тем, как он растет, мужает...

И вдруг... Все исчезло... В одно мгновение... Растворилось в воздухе, как дымка...

Немыслимое наказание: потерять своего ребенка... Не найти его ни среди живых, ни среди мертвых... Он словно растворился... И снится мне так же: лица его не вижу, только спину.

Кричу во сне: «Жорик, посмотри на меня! Повернись!» А в ответ слышу его шепот: «Мама, я спрятался!» И — все, он тает, как туман... Только шепот остается: «Я спрятался... я спрятался...»

Этот сон сводит меня с ума... (*Чуть не плачет.*)

Где он? Я должна его найти... И я пытаюсь искать... Я ищу его, а он спрятался; спрятался, не выходит...

(Переходит на шепот.)

Как стемнеет, выхожу во двор и тихо-тихо зову его: «Жо-о-орик!.. Жо-о-орик! Где ты прячешься? Выйди, не бойся...» Он молчит, не отзыается... К школе хожу... Зову,

зову, а он не отзыается. Я ищу его повсюду... Даже во сне... И нигде не нахожу... (В отчаянии.)

Но я жду, жду его возвращения... Я даже не сомневаюсь, что он вернется... В ноябре купила ему зимнюю шапочку... Вчера — новые джинсы... Все по-прежнему... Я буду ждать: неважно, сегодня, завтра, через год — он придет домой... Он же просто спрятался... Может, мне придется ждать его всю жизнь: не имеет значения... Всю жизнь — значит, всю жизнь...»

Зифа, мать

Сколько же времени прошло с тех пор, как я уехала из дома? Сколько времени прошло с тех пор, как я уехала из дома?



гвоздики

«В первые месяцы я приносила ей на могилу только свежие розы. Мне нравятся светлые тона — розовые, кремовые, чайные — такие же нежные, как моя Инга. Но, знаете, розы — они такие, казалось бы, роскошные, красивые, величественные, а стоят плохо. Два-три дня — и бутончик сваливается набок.

Хотя бы дней пять стояли, — у меня не получается каждый раз в город за цветами ездить, только по выходным. У меня сердце стонет, когда я вижу, как умирают цветы на ее могиле. Я, конечно, понимаю, что на улице холодно, что ветер колючий, что он ранит эти розы, что их нужно хранить в тепле, в домашней вазе. Но разве я виновата в том, что моя девочка сейчас не дома, а лежит на кладбище?..

Я приношу всегда одинаковое количество цветов — двадцать четыре, столько же, сколько ей было лет, когда она погибла.

Всегда двадцать четыре.

Но в последний месяц я изменила розам, перешла на гвоздики: Гвоздики — это стойкие цветы. Держатся прямо, даже если на улице мороз. Пять дней — с понедельника по пятницу — я живу спокойно: цветы у моей девочки не завянут, выдержат. Я теперь эксперт в цветах. За полгода с какими только не сталкивалась: и лилии покупала, и орхидеи, и тюльпаны, и розы, и гладиолусы. Но если вам нужны цветы для кладбища, вы меня послушайте: ничего лучше гвоздик не найти. Только нужно помнить, когда цветы покупаешь: надо брать цветы не-

распустившиеся, с закрытыми бутонами, и на крепком стебле. Возьмешь красивые, раскрывшиеся, — все, через день поникнут.

Меня продавцы уже в лицо знают, и фотографию моей девочки после штурма по телевизору показывали, они так и говорят: вот вам цветы для Инги. Продают ли мне их дешевле? Третьего сентября, после штурма, цветы у торговцев во Владикавказе подорожали на 10 рублей цветок и с тех пор в цене не падали. Торговцы знают, что никуда не денемся, к детям без цветов не приедем. Но так всегда: кому война мать, кому — мачеха».

*Лена, мать*

### гроб

«Да, мы делали гробы для Беслана... Не одни, конечно: столько бы ни одному похоронному бюро не под силу было наколотить. У нас одно из самых крупных предприятий по производству гробов, но мы бы не справились, это точно. Разве такое было когда-нибудь, а?.. Чтобы столько гробов сразу понадобилось?..

Мы больше сотни успели наколотить. В Осетии гробовщики такой нагрузки не выдержали. Пришлось доставить из Кабардино-Балкарии, Кисловодска, Пятигорска.

Третьего сентября меня и еще двух директоров гробовых контор вызвал мэр города и попросил сделать все возможное: штурм уже начался, уже первых погибших стали свозить в морг. Понятно было, что трупов будет много... Мы тут же к работе приступили. Все мои мастера вышли на работу. Несколько человек резали доски, несколько сбивали гробы... Плюс еще обшивщики — гроб нужно тканью обить. Трех человек наняли дополнительного. Для Беслана гробы мы обтягивали розовым бархатом, — власти розовый захотели.

Стучали молотками, не останавливаясь, так что уже третьего вечером первый КамАЗ повез первую партию. И

так два дня без перерыва. Моим рабочим некогда было даже пообедать: чашку чая, сигарету — и снова за работу. КамАЗы загружали, отправляли в Беслан, а как только возвращался, нужно было ехать опять.

Сколько леса ушло на Беслан? А вам это зачем? Хотите посчитать, сколько мы денег заработали? Это госзаказ был... За гробы власть платила, с нее спрашивайте... Что? Сколько парт можно было сделать из того леса, что ушел на гробы?! При чем тут парты? (*Вдруг резко замолкает.*) Сейчас посчитаю... (*Достает калькулятор, считает, говорит тише.*) 40 кубов леса. Школьных парт из 40 кубометров сосны получилось бы больше, чем гробов. Парта — простая конструкция — одна доска на двух опорах. Гроб — это же целый ящик длиной в человеческий рост...»

*Солтан Цховребов,  
директор бюро ритуальных услуг г. Владикавказа*

### грудь

«Спортзал — это великое испытание для всех нас. Что вы, там так по-разному люди себя вели. Невозможно все рассказать... Взрослые — хуже детей во сто крат... Рядом со мной сидела пожилая женщина — такая грузная, неповоротливая. Я заметила на второй день, что она все время кутает ноги. Знаете, какие-то тряпки, то ли ее одежда, то ли чья-то, скинутая — вот так, возле ног... Потом, представляете, смотрю, а она оттуда хватать пластиковую бутылку с водой, и — залпом, так жадно воду пьет... Дети аж рты раскрыли... Все без воды вторые сутки, жажда невыносимая... Дети видят воду и чуть не плачут... Она выпила и спрятала воду. Я не вытерпела, повернулась к ней: как же тебе не стыдно, как же ты можешь! Дети умирают от жажды! Как тебе вода в горло идет! Чуть не убила ее, клянусь. Но там у каждого своя система ценностей была, каждый сам для себя решил: думать о своей шкуре или о других. Как не повезло тем детям, что оказались в школе одни, без родителей! Они были

обречены. Соперничать со взрослыми на выживаемость они не могли. У меня сердце разрывалось, когда я смотрела вокруг...

И тогда я вот что придумала. В первый же день я взяла своих мальчишек, повела их в туалет, пописали они, выходят, я им говорю: где ложку бы нам найти? Повели они меня в какой-то класс, потом в другой, там, представляете, одна учительница, Галина Хаджимуратовна, тайком детям чай заваривала. Тогда еще, в первый день, была такая анархия — боевики еще не успели изучить все классы, закоулки, они еще так озлоблены не были. Ну вот, украла я там ложку. Вернулись в зал. У меня же дома дочка полугодовая осталась. Грудь молоком наполнилась — время кормить... Твердая такая... Молоко сочится... Я сначала своих мальчишек накормила. Ой, как они стеснялись грудь братъ!.. Жорик все отказывался, потом вроде согласился, но возмущался так: «Ma! Я же взрослый уже, ну что я, грудь... Ma!..» А сам-то голодный! Куда денешься. Я его кофтой расстегнутой прикрывала. Как он стеснялся!.. А потом я взяла эту ложку и начала туда сцеживаться. Кормила детей вокруг. Молоко у меня сладкое, хорошее... по ложечке, по две, по три...

Я словно нагая была в те дни... Я душу свою распахнула, я сказала: все, что у меня есть, я отдаю. Все, что смогу...

Сколько детей я выкормила в те дни! Я не пряталась, не отдавала все своим детям, я не волчица такая, знаете... Там ведь много таких матерей было: прижмут своего ребенка, а чужих кулаками распихивают. Нет, я так не могла... Эта ложка... Найти бы ее. Я ее тогда в бюстгальтер прятала (*смеется*). До сих пор девочки приходят ко мне, которых я вскормила тогда. Мамой меня зовут... После сентября у меня столько новых детей появилось...

Тогда ведь каждая капля была на вес золота. Я из себя все выжимала, до последней капли, до боли. Своим и чужим деткам. К концу второго дня молоко почти пропало.

Стресс такой. Ни глотка воды. Я поглатилась тогда за свою щедрость: у меня раньше всех началось обезвоживание.

Жутко... Галлюцинации... Встать не могла... Но я все, что могла, сделала. Отдала себя до последней капли...

Что вы, спортзал — это великое испытание для всех нас, я же вам говорю... Мы вышли оттуда не теми, что вошли...»

*Зифа Агаева, мать*

## Д

## деньги

«Я подошел к боевику и дал ему 5 рублей. Это все, что у меня было. Говорю ему: «На деньги, и, пожалуйста, отпусти мою мамку!»

Боевик расхохотался: «Знаешь, сколько у меня таких пятирублевок?» И не отпустил маму.

Это я во всем виноват: если бы я насобирал больше денег, он бы ее отпустил. А у меня было только пять рублей...»

Маирбек, 7 лет.  
(Остался сиротой)

## дети

«На моих глазах одна женщина зажала маленькую девочку, пришедшую в школу без родителей, в угол, а потом еще сверху на нее положила свои толстые ноги. Малышка сидела и плакала от боли. Когда я это увидела, меня просто затрясло от ярости. Я ее забрала оттуда и усадила рядом с собой.

Но самым ужасным было, когда взрослые уходили с опасных мест — под баскетбольной корзиной, где висела самая большая взрывчатка, например, — а туда сгоняли маленьких детей, оказавшихся в школе без родителей. Это вообще невозможно было видеть: под взрывчатками сидели только дети! А у дверей, на окнах — самые безопасные места, выходы, из которых можно было бежать при начале штурма, — взрослые.

Мне так жалко было этих детей... Они все были обречены. Сидят под баскетбольной корзиной, щебечут, тихонько смеются, словно не видят над собой эту взрыв-

чатку, эту смерть... Сбивались по стайкам, друг друга поддерживали, помогали — и себе, и всем, кому было плохо.

Как медсестры, бегали по залу: то водички принесут тайком, то лепестки пожевать, то тряпку мокрую на лоб положат тому, кто уже был в лихорадке.

Мое самое большое потрясение в этой школе — это не террористы, нет, совсем не то. Меня потрясли взрослые. Какие же они жестокие, лживые! И какие на самом деле сильные и мудрые дети. Я так не хочу взросльть! Я хочу навсегда оставаться в душе ребенком, потому что все дети станут потом взрослыми...»

Вика, 14 лет, заложница

# E

## еда

«На второй день очень хотелось кушать. Я отпросилась в туалет, а сама побежала по классам. В вазе стояли розы. Я стала отрывать лепестки и засовывать их в рот. Роза немного горчит, но вообще-то очень сладкая...»

*Вова, заложник*

«Учительница давала нам листья каланхое. Они такие толстые, хрустящие! Когда зубами прижимаешь листочек, он словно лопается, и соком брызгает. Это самый вкусный цветок, потому что в нем много воды».

*Анжела, заложница*

«Хризантемы есть нельзя, они очень горькие. Ими даже отравиться можно! Жалко, что в школу идут в сентябре: осенью как раз цветут хризантемы, и поэтому многие пришли на линейку с ними. Лучше бы было больше роз и алоэ, они самые вкусные».

*Руслан, 10 лет, заложник*

«В первый день боевики еще не были такими злыми, они пускали нас походить по соседним классам. Наша учительница Роза Хаджимуратовна нашла в каком-то классе бутылку шампанского. Ее кто-то из родителей привез. Она открыла ее и по глоточку разливала нам. Мы так радовались! Глоток воды! Я тоже глоточек сделала, а потом чувствую — что-то у меня во рту. Достаю, — а это лепестки цветов! Ну и ну, думаю, это ж надо, до чего я дошла: сама цветы ем. Дети вокруг увидели, что я жую лепестки, и стали тогда все букеты обдирать как липку. Второго сентября цветов в школе уже не осталось».

*Бэлла, заложница*

# Ж

## желание

«На вторые сутки я мечтала только о стакане холодной воды или о чашечке кофе. Никогда не думала, что последнее желание может быть таким простым...»

*Анета, заложница*

## 3

## завещание

«Когда я носила ее в себе, знаете... было такое странное ощущение... Ощущение невыносимой радости и боли. Словно паришь в небе: радуешься, оттого что летишь, и предвкушаешь предстоящее падение... Радость и боль... Я никогда в жизни не испытывала ничего похожего...

Месяцев семь беременности было, она ножками стучит, — а у меня по лицу слезы бегут — от радости, что она здесь, со мной, моя девочка, и от страха ее потерять. Этот страх — он жил уже тогда, вместе с ней, внутри утробы.

У меня были тяжелые роды... Схватки, начинаются роды, и вдруг врачи запаниковали, забегали: зафиксировали остановку сердечной деятельности у плода. Я кричать стала: «Умоляю, ее спасите, лучше я погибну!» Для меня тогда уже казалось невыносимым потерять ее. Я еще не видела ее лица, я не знала, как она выглядит, на кого похожа, — но уже не могла представить жизни без нее.

Мысль одна в висках стучала: я не вынесу ее смерти... Никогда, никогда...

Когда Алана родилась, пришло ощущение тоски... Нас разлучили!.. Она была не во мне, я не смогу ее защитить, случись что... Такая депрессия началась, — мне казалось, что я потеряла ее навсегда. Хотелось вернуть то утерянное ощущение единства, неразлучности... Чувствовать биение ее сердца... Почему нельзя носить ее в себе всю жизнь?.. Тогда бы я смогла спасти ее, уберечь.

Она была удивительным ребенком. Это я не потому, что она мой ребенок, так говорю. Вот Мила тоже моя дочь, но с ней ничего подобного не было. Мила — обычна. Не то что Алана... Представьте: просыпается ранним

утром и начинает... петь! Не кричит, как все младенцы, а поет. Невозможно это объяснить. Просыпалась она в шесть утра, и — никакого крика, плача... Гулит, напевает. И мелодия какая-то дивная... Никто не верил, что ребенок, вместо того чтобы плакать, поет! Соседи приходили смотреть на это чудо. А мы не знали, как это объяснить, и тревожились.

Вот вспоминаю: комната, залитая утренним солнцем, ее кроватка, а оттуда — пение. Подхожу, заглядываю внутрь, — она улыбается, тянет руки мне навстречу. Бог подарил мне необыкновенного ребенка, думаю я и понимаю, отчего все девять месяцев меня переполняла радость. Но почему боль? Откуда взялась эта боль?!.. Что ждет моего ребенка в будущем?

Помню, что в роддоме — а я рожала в Стамбуле, на родине мужа, — со мной в палате лежала чеченка. Она мне много рассказывала про Вангу, болгарскую ясновидящую. Узнав, что я осетинка, она прочла мне одно из ее пророчеств: «Придет время, и маленькую Осетию будет оплакивать весь мир». Кто бы знал тогда, что моя девочка, моя только родившаяся девочка, девять лет спустя погибнет в этом страшном аду, о котором уже знали пророки...

Несколько лет мы жили в Турции, а потом переехали в Осетию, на родину моих родителей. Я была самой счастливой матерью на Земле, так мне казалось. С рождением Аланки в моей жизни все изменилось, все встало на свои места. Чтобы у нее было хорошее настроение, нужно было одно условие — чтобы я не грустила, не хмурилась. А как мне хмуриться, коль рядом такое солнце?

В 11 месяцев она пошла, рано заговорила... Я вот вспоминаю ту нашу жизнь и вижу только ее улыбку, слышу ее смех, ее голос...

А много лет назад у нее появилась сумасшедшая мечта. Она меня просто замучила: «Мама, роди мне Лялю!»

Юлия Юзик

Я вообще не хотела второго ребенка, у нас с мужем испортились отношения, несколько лет мы даже жили раздельно, он в Турции, я в Осетии. Какой ребенок? Зачем он мне нужен? У меня была она...

Но она просила «лялю». Лет пять, наверное, загадывала одно и то же желание на Новый год: чтобы мама родила Лялю. Потом в девчачьей анкете на вопрос: «Самое счастливое событие в твоей жизни», — написала: «Когда мама родила Лялю». «Ляля» — ее изобретение, ее имя.

— Ну, пожалуйста, мамочка, роди мне Лялю! Мы справимся, я во всем тебе буду помогать, я все-все буду делать!

Тогда я и решилась. Забеременела, зная, сколь шаткие отношения с мужем. И никому решила не говорить о беременности, даже ему. Вдруг Аланка заболевает. Высоченная температура, она лежит, только уехал врач. Я села к ней на краешек дивана.

— Алана, а хочешь, я раскрою тебе один секрет?

— Какой, мамочка?

— Я жду ребеночка.

Она вскочила с кровати и давай плакать, обнимать меня.

— Это правда, мамочка, правда? Спасибо тебе! Как я люблю тебя!

Она была та-а-ак счастлива! Мы обе плакали от счастья. Температура спала в тот же вечер.

Девять месяцев она порхала надо мной. Она так старалась — помочь, успокоить, поддержать меня в трудную минуту. Если бы вы видели ее лицо, когда она встречала меня с Милкой в роддоме! О-о-о, такое сияние глаз, такая торжественность, ликовение!.. Сейчас я с ужасом думаю, что Милки никогда бы не было, если бы этого так не хотела Алана. Она словно выпросила ее у меня. Словно, предчувствуя, что скоро уйдет, боялась оставить меня одну...

Она так любила меня... Первого сентября, когда боевики начали загонять людей в школу, я ее потеряла... Бегаю, ищу ее, — нигде, нигде нет... И вдруг слышу: «Мама, мамочка!» Она первой меня нашла. Толпа народу, все давят друг друга, кричат, а она не растерялась, искала меня. Подруга потом рассказала, что она бегала по двору, школе, под дулом автомата, который на нее боевик наставил, и кричала: «Моя мама с ребенком, аккуратней, люди!» Представляете?.. Когда мы нашли друг друга, так спокойно стало. Она прижалась ко мне, обняла меня и Милку и говорит: «Господи, как хорошо, что мы все вместе!»

В первый день пару «Сникерсов» боевики кинули в душевую. Их разделили по крохотному кусочку, — нас всех, женщин с детьми, около двадцати человек было. Смотрю: Алана свой кусочек не ест. Завернула в бумажку и подвинула ко мне.

— Алана, ты что делаешь? Ты почему не ешь?

А сама-то уже поняла, что она к этому кусочку не притронется, — мне оставила. Смотрит на меня жалобно.

— Мама, ты Лялю грудью кормишь, тебе это нужнее. Умоляю, скушай!

Так и остался этот кусочек ничейным. Как это, у своего ребенка кусок забрать? И она его съесть не смогла — мне оставила.

В первую ночь мы не спали: дети плакали, сами в диком напряжении, растерянности. Никто не знал, чего ждать. Смерти или освобождения. Но уже было какое-то страшное предчувствие, что все равно кому-то придется погибнуть. Такие страшные мысли... Прячешь их в себе, а лицо все выдает...

Аланка смотрела на меня, смотрела, а потом вдруг спросила:

— Мама, а если бы тебе пришлось выбирать, чью жизнь спасти, твою или твоей мамы, ты бы что выбрала?

— Жизнь моей мамы, Алана.

— И я тоже. Твоя жизнь для меня дороже моей, — она так серьезно посмотрела мне в глаза.

Понимаете? Я вот только сейчас поняла смысл ее вопроса. Что она хотела этим сказать. Там, в спортзале, она

## Юлия Юзик

для себя сделала выбор, чье спасение для нее дороже. Она отдала его мне. Если бы сто раз ей предложили на выбор — спасти свою жизнь или мою, она все сто раз выбрала бы мою.

Там, в спортзале, мы столкнулись с такими философскими вопросами, которые здесь могли себе и не задать. В чем смысл жизни? За что мы страдаем? Я раньше, много лет назад, думала, что ничего выше и дороже самой жизни нет. Я любила жизнь, весну, когда распускаются цветы, этот воздух, это небо, — я думала, что весна и есть само воплощение могущества жизни... Когда-то я любила своего мужа и думала, что ничего дороже этой любви нет на свете...

И вдруг — если можно сказать «вдруг» — вторые сутки сидения в спортзале, — я понимаю, что дороже всего для меня жизнь другого человека!

Жизнь моей дочери. Еще тогда, в роддоме, когда датчики потеряли пульс ее сердца, я готова была пожертвовать своей жизнью ради ее жизни. Еще тогда, когда она была в моей утробе, когда я даже не видела ее.

А спустя почти десять лет — самых лучших, самых счастливых лет моей жизни, — когда она вросла в мою жизнь, в мою плоть, мои сны и воспоминания?!

Лишить меня ее, вырезать из меня, забрать?

Невозможно! Я не вынесу этого! Бог, наверное, не простил мне этого эгоизма. Ведь тогда, в спортзале, я больше всего боялась потерять ее потому, что боялась не выдержать страданий.

Ее выбор был честнее, вы понимаете? Она не страданий боялась. Для нее моя жизнь была дороже собственной, вот и все.

Ребенок, десятилетний ребенок, задал мне извечный философский вопрос: что самое дорогое в жизни? И сам нашел на него ответ: жизнь другого человека. И моим

ответом она только утвердилась в правильности своего выбора. Она словно завещала мне жить без нее, сказав: ты же понимаешь, я сделала правильный выбор, не жалей ни о чем...

А я... Помните, у Достоевского: «Я боюсь оказаться недостойным своих мучений»... Что-то подобное произошло со мной... Спортзал — великое испытание для всех нас, мы вышли оттуда другими — не теми, что вошли в него. Мы, взрослые, не оправдали надежд, возложенных на самих себя.

Мы думали, что мы сильнее, умнее, мудрее, чем мы есть, а оказались мельче... Мельче речного dna...

Одна женщина рассказывала, как она прятала от боевиков бутылку воды. Говорит: от боевиков, а ведь и от мучимых жаждой детей прятала... Пила из нее одна. Потом у нее были силы бежать при штурме.

Я же говорю: мельче речного dna...

Твоя жизнь или жизнь другого человека? Перед этим выбором она поставила меня на вторые сутки... Вторые сутки... Момент истины...

Когда выводили женщин с грудными детьми, я смогла выйти оттуда, оставив ее в спортзале!.. Оставить ее там... Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти?! (Закрывает лицо руками.) До сих пор не могу говорить об этом... (Долго плачет.)

Я вспоминаю ее последний взгляд и спрашиваю себя: КАК ты могла так поступить?

Когда стали выпускать женщин с грудными детьми, мне в числе первых приказали выходить. Я ничего не поняла тогда. Второй день. Адская духота, годовалый ребенок на руках, который уже не плакал, не просил есть, а медленно засыпал вечным сном, — конечно, я так растерялась.

Ночь не спали. Сидя, Алана никак не могла уснуть, а прилечь там было невозможно. Места хватало только для того, чтобы сидеть, подогнув коленки. Я ей говорю: положи голову мне на колени.

— Ты что, мамочка, тебе и так тяжело!  
 — На плечо приляг, к спине моей прислонись!  
 — Нет! Ты и так устала!

И так всю ночь. Обе вымотались, устали...

В первый день был страх, отчаяние. На вторые сутки пришла усталость. Нашла немножко воды для Милки, подношу ей, она с такой жадностью эти несчастные капли начала пить! И вдруг заглядывает боевик в душевую: «Вы что, вода же отравлена!»

Алану плакать начала: «Мама, что же делать! Милка уснет! Навсегда! Не давай ей уснуть!» А мне уже все равно... Такое безразличие... Равнодущие. Второй день без воды, воздуха... Под дулом автоматов... Милка уже не плачет, засыпает у меня на руках... Дергаешь ее — вдруг заснет навсегда? А потом Аушев приехал, какие-то переговоры, крики, забегает боевик в душевую: с грудными детьми — на выход. Я подскочила. «Можно с ней?» — хватаю Алану за руку. Он в ярости: я сказал, с грудными детьми на руках, пошла быстро! Наверное, я испугалась... Да... Я растерялась, конечно... (*Надолго замолкает.*) Поворачиваюсь к Аланке: так, мы пошли, ты веди себя хорошо... (*Долго молчит.*)

Боже мой... Она так испугалась... Смотрит на меня огромными глазами, словно не понимает, что происходит... Разве я могла уйти без нее? Она и подумать так не могла (*плачут*)... Ее взгляд...

Таких слов ни в каком словаре нет, чтобы описать вам ее взгляд... Так смотрят на человека, зная, что не увидят его больше никогда...

Паника...

Ужас...

Крик...

Беспомощность...

Отчаяние...

Безмолвие...

Прощание... —

Последний взгляд...

Если бы я могла знать тогда, что ухожу от нее навсегда... (*Долгая пауза.*) Бросаю ее... Мне так тяжело говорить об этом... (*Замолкает, смотрит сквозь стену, закрыв рот ладонью.*) Я ведь думала, что она выживет. Я не знала, куда нас выводят: а вдруг расстрел? Милка умирала у меня на руках — годовалый беспомощный ребенок, разве ее не жаль было? Возможность выбора — она была только в ту минуту, в ту секунду... Я инстинктивно спасала младшего ребенка, беспомощного и ослабленного. И я ничего уже не смогу вернуть, изменить. Я до самого конца буду нести свой тяжелый крест вины...

И никогда, никогда ее искуплю ее.

Потом мне рассказывали о ней... О последнем дне ее жизни... Она почти все время плакала. Представляете, она думала, что нас увили на расстрел... Ее мучила совесть за то, что она жива!.. Вы понимаете? Она страдала не потому, что ее оставили одну, а потому, что думала, что нам досталось худшее: что смерть досталась нам, а не ей... Представляете? А я в то время была на допросах в ФСБ, потом какие-то журналисты пришли, мы их выгнали... И... я адски устала и легла спать. Я спала! А она... Она оплакивала нас, думая, что мы расстреляны...

Я думала, что все закончится хорошо: раз нас выпустили, и остальных выпустят. Иначе бы я ни за что не легла спать...

Я спала (*закрывает лицо рукой, словно прячась от яркого света.*)

Мне даже не снились никакие сны — словно в пропасть провалилась.

(*Долго молчит.*)

...Ее нашли четвертого сентября.

Сколько детей были страшно изуродованы, искалечены, — но выжили. А она погибла из-за такого вот крохотного кусочка, который вонзился ей в шею! Ни цара-

Юлия Юзик

пины, ни ранения, — лишь крошечный кусочек металла в сонной артерии... Спящая принцесса... Глаза закрыты, — никогда больше не увижу ее глаз... (*Долго рыдает*)

Все, что осталось мне, — вспоминать ее последний взгляд, провожавший меня, пока я не закрыла за собой дверь...»

*Анита, мать*

**звук**

«Больше всего мне запомнился звук выстрела автомата... Я люблю играть в компьютерные игры, стрелялки. Ну, то есть, хорошо знал звук выстрела. Но в школе я был просто поражен. Это совсем другой звук! В компьютерной игре он глухой, раскатистый... какой-то даже приятный для уха... А настоящий звучит совсем по-другому. Так громко! Так резко! Перепонки лопаются! Самый ужасный звук, который я слышал в своей жизни...»

*Вова, заложник, 9 лет*

**золото**

«Нам сказали, что памятники у всех погибших должны быть одинаковые. Раз люди погибли при одних и тех же обстоятельствах, в одно и то же время, — значит, и их могилки не должны отличаться. Кто-то беднее, кто-то богаче, — обязательно это будет заметно на кладбище. Но смерть всех уравняла, для нее нет избранных. Поэтому и бесланское кладбище должно быть монолитным. Памятники делают из итальянского красного гранита. Надписи — золотистым напылением. Черно-белые портреты.

Но что вы думаете? Человек и на погосте не может успокоиться, если он богаче остальных. Ему и там надо демонстрировать свои деньги, свою роскошь.

У нас недавно скандал вышел. Кто-то хотел сделать на памятнике своей жене вырезанную надпись, чтобы напыление легло в прорезанную дорожку. Ему не дали: всем делают одинаково, поверхностным напылением. Все

памятники делают в одном цехе, одна и та же бригада мастеров, — так что все вроде бы под контролем. И вдруг выясняется, что какой-то местный депутат дал мастеру большую взятку, чтобы тот ему все-таки вырезал имя-фамилию на камне и вил в углубление настоящее золото. Тот так и сделал. Конечно, золото — это не краска вам, не суррогат.

Оно на солнце заиграло, заискрилось; буквы вышли выпуклыми, яркими. Родственники возмущались, такой сканда-ал вышел, мама дорогая!

Ну, это-то понятно: не каждый может себе позволить вливать чистое золото в могильный камень! Людям не- приятно стало, что у кого-то настоящее золото на могиле, словно человек какой-то особенный был, не то что все, так ведь получается, да?

Я вот что думаю... Тому-то, кто уже помер, все равно, что на его могиле — золото или подделка. Но покуда человек ходит, дышит, он никогда не перестанет молиться слитку золота. Вот из чего надо выливать истуканов, — на них будут молиться все, и мусульмане, и христиане, и иудеи.

Золото — вот человеческий Бог...»

*Алан, мастер цеха по изготовлению памятников*

**зубы**

«Я ее не сразу узнала. Говорят же: мать родная не узнает... Воистину, самое страшное проклятие... Вот и я не узнала ее сразу. Как узнать было?.. Ничего не осталось... Туфельки сгорели, платьице сгорело, трусики сгорели... Какое лицо, что вы, — лица там не было. Мне полиэтилен поднимают и спрашивают: узнаете? Не узнаю. Но что-то остановило меня от того, чтобы закрыть и дальше пойти. Что-то такое, необъяснимое... локон волос — похожий на ее рыжие кудри... Всего локон один и остался... И не разберешь, рыжий он или нет, — все в саже, в пепле, все сгорело. Остановилась я, как завороженная, и пошевелиться не могу.

Санитар говорит: рот откройте, посмотрите по зубам.

Я голову пыталась приподнять, а у нее ротик раскрылся... О, Боже, погодите, я сейчас, только валидол выпью... Ну вот, ротик раскрылся, а оттуда... оттуда зубки посыпались... Взрывной волной выбило их. Зубки у нее такие смешные были. Передние молочные выпали, новые выросли, такие крупные, неровные. Остальные еще не успели вылезти, — расстояния между зубами большие, растут они криво. Я ее по зубам точно узнала бы... Но они все высыпались изо рта.

Я на санитара посмотрела, а он отвернулся: побоялся мне в глаза смотреть...

Что мне оставалось делать?.. Я ротик раскрыла аккуратно так, мягко: прости, говорю, кто бы ты ни был!

Рукой во рту перебираю, собираю зубы... пальцы скользят по деснам... нёбу... Как это страшно, как страшно... (*Шепотом.*)

Хорошо, что глаза ее не видели того, что делают мои руки... Вынула всё... На асфальте разложила. Смотрю — вот он, передний, неровный такой... Сердце сжа-а-алось, смо-о-орцилось так...

Душно стало... Руки похолодели, лицо похолодело... Выйти захотелось. Собираю их в два ряда — верхний и нижний. Представляете, она у меня мозаику любила собирать — принцесс, львов... А теперь я, сидя на асфальте, ее зубки, как мозаику, раскладывала: вот два передних, одного не было еще, пропускаем, вот нижние... Соседка с мужем проходила, как они меня увидели, как кинулись ко мне, обняли и кричат:

— Что они с нами сделали, Дзера, что же они с нами сделали!..

А я не плачу, я просто собираю зубы своего ребенка, чтобы его опознать и поскорее увезти отсюда, домой.

Все зубки совпали... Два кривых передних... Когда она хохотала, мы так смеялись над этими ее двумя зубами!

И вот она, моя девочка, лежит передо мной на земле... сгоревшая... изуродованная... зубы рассыпаны по асфальту...

Мать родная не узнала... Только сейчас поняла, какое это страшное проклятие!

Собрала я эти зубы в горстку и давай их целовать... плакать... кричать... Вот тогда все прорвало у меня. Эти зубы — все, что мне от моей девочки осталось! Как я кричала тогда!..

Зубы в ладони зажала и кричу: «А это никогда не отберете, не посмеете, не приближайтесь ко мне, она моя!»

*Дзерасса, мать*

## И

## исход

«Что вспомнить? Помню свои ощущения... Лучше всего их запомнил... То, что в душе тогда было... Первый день — сплошной адреналин. Я почему-то думал, что в этот же день и развязка произойдет. Такой возбужденный был, ну, думаю, и в переплет попал. В первый день мало кто понимал, ЧТО произошло на самом деле...

А ночью я сник, в голове сумбур такой начался... Куча мыслей... О родителях подумал в первую очередь. Им-то сейчас тяжелей было, чем нам: они ничего не знали, не видели, воображение, сами знаете, что угодно нарисовать может... Потом пришли мысли о том, что сейчас вот все закончится. Ну, мечты там всякие... Будущее... Так обидно стало, что ничего не будет...

Во второй день все изменилось. Сижу, ничего дурного не делаю, и вдруг — бабах! — кто-то мне оплеуху отвесил! Оборачиваюсь, смотрю — террорист.

— Чё, умный сильно? Чё очки напялил?

Представляете, для них очки — это признак большого ума и выпендрежности! Дети гор! А у меня один глаз — минус 15, другой — минус 7. Слепой совсем... Без очков ни черта не вижу...

Я насупился, чтобы на него не кинуться, переждал, пока он уйдет, но очки все равно не снял. А страх вдруг переродился в злость. Если бы он ко мне с очками не прицепился, я, может, так бы и сидел в своих печалях...

Зато брат мой совсем раскис, — он младше меня, 11-летка. Смотрю — ноет сидит. А нельзя ж, вы понимаете, вот так ныть... Если сник, — всё! — можешь уже ни на что не рассчитывать.

Я ему как врезал по башке!

— Ты чего, козел, за свою шкуру дрожишь? А ну выти сопли!

Он как-то не ожидал такого поворота, собрался весь, нахмурился.

— Прибереги силы, они нам еще понадобятся!

Вот так я ему сказал. Как отрезал, значит... А самому плохо было, да... Жара... Все мысли — только о глотке воды... Ну вот, представьте: если с утра вы не позавтракали, даже чашку чая не выпили, и целый день по жаре, то к вечеру, естественно, с ног валитесь. А мы еще и сидели на корточках, — ноги затекли, ну аж до боли... Ни шелохнуться, ни свежего воздуха глотнуть... В горле все пересыхает, ноги затекают, время кажется бесконечным.

Следующая ночь была такой ужасной... Невозможно вам даже описать... Утром я понял, что во рту у меня вообще сухо... Ну, как в пустыне. Даже рот с трудом открывался... Язык какой-то неживой стал, а слюна пересохла. Белая, густая, как сметана; даже не слюна, а черт знает что... Вам операцию никогда не делали? Если да, то вы меня поймете. Помните ощущения, когда после наркоза открываешь глаза, — а во рту такая гадость! Сухость и какие-то сгустки слюны, — так противно... Я давай глазами шарить по полу, вижу — пожеванная жвачка валяется, присохла к полу. Я ее отодрал, в рот засунул и принялся жевать. Чтобы железы заработали, чтобы рот увлажнить как-то.

Но слюна-то уже не вырабатывалась. Нет слюны, и все! Я этой жвачкой весь рот обцарапал, никогда не думал, что такое бывает!

А потом третий день начался. С утра напряжение росло, как перед грозой. Тучи сгущаются, что-то в воздухе собирается...

Я понял, что сегодня — день исхода. Не знаю, каким он будет, но сегодня все должно было решиться. Люди уже начинали умирать — без воды и воздуха; боевики стали собираться — переодевались в обычную одежду, как-то нервничали, туда-сюда бегали... А к полудню их вообще почти не стало видно. Несколько человек держали спортзал под контролем, а остальные просто исчезли из виду. Вообще — представьте! — боевики все как испарились! У меня такой мандраж начался. Было же понят-

но, что, раз террористы готовы к чему-то, пора и нам приготовиться.

И вдруг — взрыв! Как землетрясение! Такое ощущение, что земля под нами закачалась и разверзлась. Все шатается... Дым... Крики... Очкис мои слетели — видимо, от взрыва их вообще разнесло на осколки... Ничего не вижу, перед глазами темно! Я давай Казбека искать: руками шарю вокруг, кричу — не отзыается! Все вокруг орут, пыль, дым... Ад, настоящий ад... Бегаю, как ненормальный:

— Казбек, Казбек!

Понимаю, что, раз не отзыается, значит, уже вперед рванул. Он вообще парень решительный. Раз в момент взрыва у окна сидел, значит, думаю, успел выскочить. Пока я бегаю, слышу: что-то опять сверху падает, горит... Какой-то пожар начался... Тут или выпрыгивать из окна, или оставаться под обломками. Я и рванул. Ничего не вижу без очков, кругом все расплывается, темень какая-то...

А я... Верите? Видел свет в конце туннеля и бежал на него. Свет меня и вел вперед. Я раньше думал, что это все байки — про свет в конце тоннеля там и все такое. А тут реально — свет. Я бежал и... Бежал и вдруг... Эти руки (*резко замолкает*)... Я не люблю об этом вспоминать. Не по себе делается. Но что я мог сделать? (*Замолкает*.)

Когда я бежал, чьи-то руки схватили меня за ноги и... Я упал. Чьи-то окровавленные руки держали меня за брючину и не отпускали. Мертвой хваткой. Лица я не видел, все было под обломками. Я только слышал голос:

— Помогите, помогите...

Не знаю даже, взрослый или ребенок это был? Наверное, все-таки взрослый: такая силища! Схватил за ногу и, как бульдог, держит. Моя брючина для него последней надеждой была. Терять ему было нечего. Чего он хотел? Спасти? Или не хотел один умирать?

Не знаю, но... Все уже падало, горело... Ад, просто ад... Если бы я стал этого человека вытаскивать, я бы остался

с ним, в том аду. Оттуда не возвращаются. Я дернул изо всей силы ногой, сбросил его впившиеся пальцы и побежал вперед.

Я не хотел умирать. Пусть простит мне Бог, что я побежал дальше.

Эти руки мне до сих пор снятся... Я бегу, а они хватают меня за ноги и не дают бежать, и... Я падаю и начинаю гореть.

А сколько живых было, когда пожар только начинался... Кошмар! Настоящий ковер из тел и тянувшихся рук. Весь спортзал стонал!.. Клянусь вам, там столько еще людей живы были! Они ждали помощи, спасения... Но пожар никто не тушил... Они заживо горели...

Продолжалась стрельба, взрывы — какие-то мощные взрывы... Может, стреляли из чего-то тяжелого? Из гранатометов там или танков. Я ничего не видел, я только слышал и чувствовал.

Когда я подбежал к окну, то увидел, как с внешней стороны, облокотившись о стену, полулежал спецназовец. Он помогал детям выпрыгивать из окна. Мне показалось, что ноги у него были перебиты, он уже не мог никуда отойти, а может, уже и не хотел никуда уходить. Он был под перекрестным огнем. Наверное, его потом убили...

А кроме этого спецназовца, я не видел других таких, которые рисковали собой. И в школу они не забегали. В основном только стреляли.

Я до сих пор думаю: мог ли я кого-то спасти? Нет, не мог. Слепой как крот, я бы увяз там... Но до сих пор у меня перед глазами эти тянувшиеся руки... А я их сбросил с себя и побежал дальше... Я не знаю, как правильно надо было поступить. Вытащить его? Или надо было спасти себя... Я не знаю, но эти стены, эти руки снятся мне до сих пор. Все они заживо сгорят. Таков был исход...»

*Амран, заложник*

## K

**клонирование**

«Бегала по больницам, как ненормальная, кричала: «Моего мальчика не видели? Где мой мальчик?» Я обошла все больницы минимум раз пять, приглядывалась к каждому ребенку, к каждому... Я помню один день... Шел ливневый дождь... Небо было серым, нависшим прямо над головой, гремела гроза, выл ветер... Я вся промокла, вода стекала по платью в туфли... Я так замерзла, что у меня начался озноб: зубы стучат, лоб горит, падаю с ног...

Казалось, что пришел конец света: я потеряла своего ребенка, его нет среди живых, и это небо... этот дождь... они сказали, где его нужно искать...

Я больше не живу. Я существую. Что-то делаю, хожу на работу, принимаю пациентов, заполняю истории болезни, и всегда — всегда! — мысли о нем. Они не покидают меня никогда, ни-ког-да...

О том, что его нет... О том, какой он... Я без него не могу! Такая тоска: так хочется увидеть его, дотронуться до него... Невыносимая тоска!.. И вот я представляю его, вспоминаю, — сердце наполняется светом и радостью. Мои мысли воскрешают его, а реальность убивает... И так хочется, чтобы он вдруг ожил, мой мальчик.

Знаете, иногда мне кажется, что со мной все нормально, а иногда — что я уже сошла с ума... Понимаете... Я хочу клонировать его! Сделать точную его копию!

Ко мне приезжала журналистка одна, все расспрашивала, расспрашивала... А потом обсмеяла меня в своей газете: вот, мол, одна мать совсем сошла с ума — хочет клонировать своего убитого в теракте мальчика. И так со-

чувственно, так осторожно — выставила меня свихнувшейся... Она ничего не понимает в том, что такое клонирование... Она же журналист... А я — врач. Я человек науки. Я очень хорошо понимаю технологию клонирования. Это наука будущего, вот увидите. Десять лет назад что писали об искусственном оплодотворении? Что это бред, сатанизм! Как такое возможно! А что сегодня? Искусственное оплодотворение — обыденность, банальность. Человечество всегда сопротивляется прогрессу...

Вот, смотрите, что я недавно прочла (*зачитывает вслух*): «Корейские ученые создали клонированный эмбрион человека». Но это ерунда... Есть более существенное, чем это, потому что об удачных экспериментах никто писать не будет. Церковь это осуждает, поэтому все делается тайно. В России клонирование не делают, но научно-исследовательские работы уже ведутся. Пока все это делают нелегально, но придет час, и об этом заговорят вслух.

Во Франции за убийство человека дают четыре года, а за клонирование — восемь, это я по телевизору слышала в «Пяти вечерах с Андреем Малаховым»... Представьте, за убийство — четыре, а за воссоздание убитого, по сути, — вдвое больше. Все боятся этого клонирования, и больше всего — Церковь. Что будет, если человек сам начнет создавать копии умерших? Это же то же воскрешение! Влияние церкви рухнет, потому что зачем тогда ждать второго пришествия, суда и Божьего воскрешения, когда можно сделать это самому? Зачем тогда вообще нужен Бог?

Клонирование — это развитие человеческой мысли. Развитие медицины. Все очень просто: берется клетка умершего, из нее как бы выжимается ядро — это я так, попрошу попытаться вам объяснить, — а в этом ядре вся информация о человеке, начиная с поверхности кожи, линий на руке и заканчивая его внутренностями, болезнями, характером, привычками... Любая клеточка из костной ткани умершего человека годится... Оттуда ДНК вытягивается и вживляется в женскую яйцеклетку, и всё — зачатие произошло.

Юлия Юзик

Взять бы клеточку Тимошки, клонировать ее и увидеть моего мальчика: заново, с рождения, как он плачет, как улыбается, как учится ходить, как ласкается... Все заново прожить, представляете?

Еще не поздно... У нас времени много... (*достает какую-то газету*): «В Таиланде ученые пытаются клонировать знаменитого белого слона короля Рамы, умершего сто лет назад...» Сто лет назад! А наши детки погибли совсем недавно, их ДНК совсем свеженькие...

Алла, мать

**кока-кола**

«Нам так пить хотелось тогда! И Жорик мой так страдал! Он у меня такой водохлеб! Я ему знаете что говорила: вот выйдем отсюда, я куплю столько бутылок «Кокаколы», столько... столько... Хватит для того, чтобы наполнить целую ванну! «Представь, Жорик, ты будешь купаться в «Кока-коле»! Она будет пузыриться... Такая сладкая... Такая вкусная...» Он так замирал, жмурился от удовольствия и мечтал о ванне с колой... В последний раз я его видела перед началом штурма».

Зифа, мать

**кольцо**

«Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь».

*Ветхий Завет, Песнь Песней (8,6)*

«Мы познакомились в гостях, — я зашел к другу на день рождения и увидел там Эмму. Она мне сразу понравилась — худенькая, стеснительная, улыбчивая и — огромные карие глазища. Вроде и взрослая женщина, а улыбается так... обезоруживающе, что ли... ну, точно ребенок... Какие-то случайные столкновения в гостях, слово за слово, так и познакомились. Дальше... так смешно рас-

сказывать... Я ее приглашаю на свидание, смотрю, у нее глаза загораются, и встрече рада безумно, но что-то мучает ее, а сказать — как всегда, стесняется. Потом сам догадался. Она учительница, ее столько людей знают, знают и то, что она разведена и сама воспитывает семилетнюю дочку. Вот она и боялась всяких сплетен, разговоров. Городок-то крохотный, все друг про друга знают... Ну и Кавказ — сами понимаете... Я это когда понял, так растрогался... От ее чистоты... Сам и предложил: бери Карину с собой. Представляете, свидание двух взрослых людей, а рядом — ребенок... Садимся в машину, — Карина на заднем сиденье. Едем в город гулять, — Каринка рябышком. Весь наш зарождающийся роман Карина была рядом.

Конечно, было непросто. Семилетний ребенок — это уже настоящий человек, со своим характером, привычками, обидами...

Чуть что-то не так — «а вот папа...» Я все слатывал. Больно, конечно, было, но что поделаешь, у ребенка есть живой отец, ей, наверное, тоже нелегко давалось то, что рядом теперь появился новый человек... Да что там, мне кажется, каждый ребенок, растущий без отца, держит в кармане эту козырную карту, припасенную для незнакомцев, вторгающихся в их жизнь, — оп! — а папато мой все делал по-другому!

Летом 2002-го, как сейчас помню, мы поехали в аквапарк. Сидим с Эммой на скамейке в тенечке, наблюдаем за плещущейся в детском бассейне Кариной. Плескается она там, с девчонками «ля-ля-ля», бултыхаются... Вдруг я вижу, как она, рассказывая что-то новой подружке, протягивает руку, показывает на нас, — и представляете, — я не мог поверить! По губам читаю: «А это мои родители!» Год почти — и вот она меня приняла! Родители! Черт возьми, я так гордился! Прошу Эмму: выведай у нее, правда ли она так сказала, или мне показалось. На следующий день Эмка приходит сияющая: «Да, она так и сказала! Но когда я ее об этом спросила, она

так засмущалась... И просила тебе об этом не говорить — стесняется...»

Через год после этого мы с Эммой и поженились. Долго, да... Три года романа... И все никак я не был готов, что ли... Нет-нет, не потому, что сомневался в чувствах, — я был уверен в нашей любви, как в самом себе. Эмма тоже задавала мне этот вопрос: почему, говорит, ты так долго все это тянул?.. А я ей так сказал: да потому, что нас не двое, а трое. Ведь если бы Карина так и не приняла меня, ты бы металась меж двух огней. Ничего бы хорошего из этого не вышло. Каринка бы тянула тебя на свою сторону, я — на свою... Разве это жизнь была бы?

Мы поженились в декабре 2003-го... Переехали в мою квартиру, — видите, какая большая... Мы мечтали о своих детях... Так счастливы были... Господи, хорошо, что хотя бы воспоминания у меня никто никогда не сможет отобрать...

С Эммой так легко было... Я таких женщин в своей жизни не встречал... Хотя тоже уже не мальчик, скоро сорок... Она всегда улыбалась. Всегда сияла. Никогда ни одной жалобы. Ни на безденежье, ни на работу, ни на людей — ни-ког-да... Все хорошо, все замечательно, нет проблем, и — улыбка, ее блестательная улыбка... Потрясающая жизнерадостность... Я такую больше никогда не найду...

Что такое любовь? Это такой абстрактный, философский вопрос... А я не люблю рассуждать абстрактно, я не придаю значения словам, фразам... Слова — это фантики, бумажка... Я знаю, что в моей жизни были счастливые несколько лет — те, что Эмка озаряла своей чертовской улыбкой... И знаю, что после 1 сентября этот свет погас... Все выключилось. Наверное, мы были так счастливы... Так счастливы, что Бог решил, что будет с нас, хватит...

Я уехал из дома в шесть утра 31 августа... Каринка еще спала, я не стал ее будить. Зашел, поцеловал ее в щечку.

Она так смешно спала, обняв свою плюшевую обезьянку (*смеется*). Всегда спала с этой обезьянкой в обнимку. Ей на пузо нажимаешь, и раздается: «Я тебя люблю!» В школу начинаешь ее будить — ноль эмоций, а только обезьянку вытянешь из рук, нажмешь, и тут же: «Я тебя люблю!» Тут она и просыпалась (*улыбается и растерянно замолкает*). Но в то утро я ее не стал будить... Мы ее между собой звали Каришком (*смеется*)... Каришок...

Эмма приготовила мне завтрак, ну, позавтракали мы, поболтали, потом она вышла проводить меня во двор... Улыбнулась, помахала рукой... Я сел в машину и поехал. Утро как утро. Ничего необычного. Никаких предчувствий.

Я так себя проклинаю... Так виню себя... Что ничего не смог предотвратить, ничего не почувствовал, не заметил... Каждый год перед первым сентября я заезжал к ней в школу, смотрел, как она приготовила класс к занятиям. А в этот раз не зашел... Почему? Ну почему?! У меня есть знакомый, который держит свою бригаду строителей-ремонтников, они в этой школе в прошлом году делали ремонт, и вот я его встречал накануне прошлого первого сентября, и он мне рассказал, как директриса кинула их на деньги, не заплатила... Перед этим сентябрем я его не встретил, поскольку уехал в Воронеж.

А если бы он рассказал мне, что в этом году ремонт за гроши делала непонятная бригада, которую директриса сама привела... Я бы насторожился, я бы пошел в школу все проверить... Я человек очень осторожный и недоверчивый. Я бы всю школу облизал, я бы нашел что-нибудь подозрительное — людей, ящики с оружием...

Когда я ехал в Воронеж и проезжал через Кабардино-Балкарию, — ни один гаишник, ни один мент не сказал мне, что во всей Кабардино-Балкарии 1 сентября отменили все праздничные линейки в школах! Если бы я узнал об этом, я бы тут же позвонил, запретил им идти в школу, предупредил бы всех своих знакомых... Это же понятно, если в Кабарде отменили 1 сентября, значит, «разведка уже доложила»...

Я приехал в Воронеж в четыре утра первого сентября. Вырубился просто. Проснулся уже часов в десять утра. Смотрю на телефон — ее неотвеченые звонки. Не слышал! Звук на телефоне вырубил и уснул как убитый! Она пыталась дозвониться до меня... Когда я проснулся и стал ей набирать, ее телефон уже был выключен. Все. Было поздно.

Я сразу вспомнил это лето... Уже прошедшее лето... Знаете, ей все лето снились какие-то странные сны. Она просыпалась после них какая-то серая, задумчивая. «Такие сны снятся, такие плохие сны, не пойму... чего они хотят от меня?»

Но что за сны, не рассказывала. И кто эти «они», — не говорила... «Плохие сны» — вот и все. И грустное лицо, — никогда ее такой не видел. А незадолго до моего отъезда она вдруг ни с того ни с сего спрашивает: «А если я умру, ты будешь по мне страдать?»

Как я разозлился! Глупые женщины, вечно у них в голове какие-то глупости! И я ей резко ответил: «Время лечит». Она вся как-то сжалась, потемнела... Обиделась. Тогда на следующее утро, лежа в постели, повернулся к ней и спрашиваю:

— Что, обиделась на меня за мой ответ, да?

— Обиделась...

— На глупые вопросы — глупые ответы. Зачем ты спрашиваешь о таком, сама ответа не знаешь?

Вот и скажите — почему она задала мне тот вопрос? И почему я ей так грубо ответил?

Когда мне из Беслана позвонили и сказали, что школа захвачена, я все понял. К чему снились сны, к чему она задала тот вопрос... Такая тоска взяла за горло... Я далеко, я ничего не могу изменить, исправить... У меня появилось чувство, что я никогда их больше не увижу. Так отчетливо, так беспощадно... Я зашел к себе в комнату, достал чемодан, открыл его и уткнулся в него лицом. Вещи еще хранили в себе тепло ее рук, ее запах...

Потом была дорога обратно, безумная скорость на трассе, осажденный Беслан... Все как во сне. Я те дни вообще плохо помню. Помню третью сентября, когда штурм уже вовсю шуркал. За оцепленную территорию никого не пропускали, но Эмкин брат в милиции работает, и меня с ним пропустили — уже почти на пепелище, потому что сами они никак не могли их найти. Я позвонил теще: в чем Эмма была? Белая юбка, серая безрукавка, белые босоножки...

Я ее быстро нашел. Ну, как сказать... Она не обуглилась, как многие: ее можно было узнать. Так что мне, можно сказать, повезло... Знаете, когда кипятком обожжешься, кожа пузырится и лопается? Вот так и она вся такая была... Ожоги, ожоги... Там температура была такая, что люди плавились... Пожар... Химия эта вся горела... Я ее нашел, беру на руки, чтобы вынести оттуда, а она... как это сказать... (замолкает)... стекает у меня с рук... Кошмар... Поднимаю ее (*показывает*), а она, как кисель, просто расплзается в руках...

Санитар, который ее потом обрабатывал, сказал, что на нее сверху крыша упала и перебила ей таз и ноги. Они у нее были раздроблены в муку... Я поэтому ее долго не мог на руки взять...

*(Долго и растерянно молчит.)*

Я ничего не знал о том, как жила она эти три дня без меня, о чем думала, что чувствовала. Последний, кто видел ее живой, была ее знакомая учительница.

Она и рассказала мне про нее.

Ее нашли полуживой: она уже не могла идти, лежала, прислонившись головой к стене. До последнего помогала передавать детей из спортзала, пока ей самой не перебило ноги... И голова набок склонилась, не держалась уже на шее...

Ее пытались вытащить, а она махнула рукой — бесполезно, мол... И дала знак, что хочет что-то сказать. А так как говорить уже не могла, то она окровавленным пальцем — вот так (*проводит пальцем по запястью*), — напи-

сала на своей руке две буквы — «К» и «А», а потом поднесла к губам безымянный палец, поцеловала обручальное кольцо и прошептала: «люб...лю...»

Все, что успела произнести...

Так она передала мне свое последнее признание в любви... Мне и Карине... Ее имя она не успела дописать, но и так было понятно, что это за «К» и «А» на ее руке...

В последнюю минуту своей жизни она думала не о себе... О нас! О том, как передать мне свои последние слова...

Разве я не знал и так, как она меня любит? Конечно, знал. (*Вдруг замолкает, пожимает плечами.*) Нет, не знал... Она целовала обручальное кольцо... Которое я ей одел на палец... Выходит, ничего я не понимал раньше...

Они погибли обе... (*Долго молчит.*) Каринку я потом нашел в морге. Лицо сильно сожженное было, но я ее по своим приметам узнал... Родинка на лопатке... Шрам на коленке — когда она училась на велосипеде кататься, разбила ногу... И — мозоль от роликов, еще совсем свежая — две недели назад ногу натерла. Я ж ее родинки, как свои, знал. И шрам на коленке — это из ее далекого детства, это все не при мне было, но это же свое уже, родное, понимаете? До сих пор не понимаю, как матери своих родных детей найти не могли, чужих забирали... Помню разговор: «Как его узнать, у всех детей пальцы на ногах одинаковые». Конечно, сгоревших было много... не приведи Господь... но я бы своих девчонок из миллиона узнал бы...

Во время похорон я еще не понял, насколько все страшно... Все началось потом. День, ночь — не имеет разницы, все слилось в одно, в голове одни только вопросы, одни упреки: почему не смог предотвратить, спасти? Детали этого штурма перебираешь, анализируешь варианты, понимаешь, что все — все! — делалось не так... Чувство вины — оно пожирало меня просто. Вопросы, вопросы... На которые уже поздно искать ответы.

Утром просыпаешься — в постели никого, тишина... Заходишь в детскую — обезьянка на месте, а Каринки нет... Нажимаешь, слышишь это вечное «Я люблю тебя, я люблю тебя!»

Идешь на кухню, включаешь конфорку и зажимаешь ладонью рот, чтобы не завыть от тоски...

Месяц... Целый месяц я был как загнанный заяц. Я садился за руль машины, куда-то ехал, гнал — зачем, куда, не знаю...

В этой школе, помимо Эммы с Каринкой, погиб мой друг — Артур Дзампаев, его жена и их двое детей. Я с Артуром пятнадцать лет неразлучен был. Все погибли. Все. Шесть человек я потерял в один день. Свою любовь, свою семью, своего друга...

Месяц я с ними разговаривал, просил прощения... Я сходил с ума от беспомощности. А потом... Я был в Воронеже тогда, в полночь катался по городу — просто так, без всякой цели, целый месяц так... Вдруг, в какой-то момент... Останавливаю машину. Выхожу на улицу. Холодно, промозгло. Кругом люди какие-то, парочки, смеются, радуются... Я огляделся, словно в первый раз глаза открыл, — где я? что со мной? где моя жизнь? почему эти люди так жестоки? почему они могут смеяться, когда произошло такое горе?

И тут я понял, что я — не здесь, я не вижу людей вокруг себя, я застрял в том дне, в третьем сентябре; все думаю, как расставить военных, как создать оцепление... Где машины «скорой»? Где спецназ? Почему он не вытаскивает людей из школы? Почему никто не хочет прыгать в эту горящую школу? Да, этих спецназовцев дома ждут дети, кому охота прыгать в огонь, я все понимаю. Но дайте тогда прыгнуть туда тем, чьи дети не дома, а здесь... Откуда танки? Как можно по детям из танков? Остановите их, черт возьми!

И вдруг — снег, Воронеж, смеющиеся люди. Такой шок. Я понял, что дальше так невозможно, нужно либо

уходить к ним, либо оставаться здесь, — вот в этой зиме, в этой машине, в этом ночном городе.

И я попрощался с ними. Я должен был это сделать — попрощаться с людьми, которых я любил...

И вот я вышел из машины, вдохнул поглубже... Воздух холодный, аж потрескивал... Звезды на небе... Я поднял голову и сказал то, что должен был сказать: «Прости меня, Эмка! Я не смог ничего для вас сделать, я не смог вам помочь... Простите меня и отпустите...» Я рассказал им, как у меня дела, рассказал Эмке про ее мать, Каринке про обезьянку. Ну, потом я сказал Эмке спасибо за ее послание, сказал, что мне все передали.

Потом я попрощался с Артуром, с его женой и его детьми.

Они меня отпустили. Я это почувствовал даже физически. Словно сняли тяжеленный мешок со спины. Я сел в машину и поехал домой.

Скоро будет год, как их нет. Легче не становится. Та же тоска. Сегодня ездил в цех смотреть, как им делают памятники. Все не то, все не то... У Эммы лицо какое-то грустное... И что они такое сделали с ее глазами? Она словно плачет!.. Это так больно, знаете, — видеть глаза женщины, которую любишь... Видеть их высеченными на камне... Я стоял и смотрел на нее, не в силах отвести взгляд...

Простоял напротив ее камня два часа; когда глянул на часы, ужаснулся, казалось, что прошло всего минут десять. Я возвращался оттуда, словно пришибленный...

Сейчас я точно могу вам сказать, что любовь сильнее смерти. Любовь живет сама по себе, для этого на самом деле и не нужен сам человек, его плоть. Любишь ведь не тело, а душу. А душа бесплотна...

Мои чувства не стали слабее после ее смерти. Знаете, даже какие-то простые эпизоды, когда вспоминаешь их, вдруг предстают в каком-то другом цвете... Ставятся яркими и такими... выпуклыми, что ли...

Эти воспоминания, — их у меня уже никто никогда не отберет.

Мне скоро будет сорок, у меня была любовь, жена... Она так и не успела родить мне ребенка...

А я единственный сын у своей матери, и она ждет внуков... Наверное, пройдут годы, боль немного стихнет, и я вновь женюсь. Мне нужны дети. Но это будет та-ак, брак по расчету, фикция... Женщина, которую я любил, поконится на кладбище. Другой такой не будет никогда.

У меня теперь впереди муравьиная жизнь... Таскать в дом веточки, крошки... Воспроизводство рода... Муравейник...

Бог не дарит любовь два раза. Да и вообще дарит ее не каждому. У меня она была... А за это поцелованное обручальное кольцо (закрывает лицо руками)... за это «люблю»... вы же понимаете...

Маирбек, муж

# Л

ливень

«В первый вечер такой дождь начался, какого мы ни в какие времена не видели. Страшный ливень, стеной вода стояла. Мы с женщинами спрятались в разбитом доме, в котором раньше школьный сторож жил, — и крыша там худая, и вместо окон дыры зияют. Уже больше десяти вечера было, небо темное, дождь хлещет! Я еще женщинам, помню, сказала:

— Наверное, небеса разверзлись для нас этим дождем, чтобы мы смогли в школу пройти.

Там ведь снайперы сидели, вы же знаете? Потому все боялись к школе даже приблизиться. Но в такой дождь они ничего увидеть не могли!

И пока мы обсуждали все это, слышим — жуткие крики. «Боевики идут! Боевики идут!» Солдаты наши закричали. Так перепугались они этих боевиков, что чуть к нам, теткам, на руки не попрыгали!

А боевики, видать, не ожидали, что кто-то в такой ливень будет на улице, спокойненько вынырнули из школы и пошли.

Ой, какой солдаты шум подняли! Страшное дело! Боевики от этих криков сами перепугались и потому стрелять даже начали. Солдаты, когда стрельбу услышали, вмиг убежали! А нас, женщин, оставили в этой сторожке. Но боевики нас не тронули, они быстро-быстро ушли... Несколько здоровенных таких мужиков. Даже боевики, видите, смекнули, что сейчас их могут начать штурмовать, они беззащитны были в тот дождь — сидят, как в осажденной крепости, и ничего не видят вокруг.

Но штурм никто не начал, что вы! Солдаты разбежались, завидев боевиков, нас чуть не подавили, да и все...»

Светлана, бабушка

# М

матка

«Я очень хочу ребенка: такого крепенького, веселого малыша. Утешиться хочу, высушить слезы... Мне снится, как я беру его на руки и кружусь с ним на руках по комнате, смеясь... Но это невозможно...

Невозможно для меня.

...У меня нет матки!

Ее вырезали после его рождения. Иногда думаю: надо же, как получилось! Словно кто-то вслед за ним сжег мосты. И вот теперь — ни его, ни кого-то другого.

Никогда.

Зимой, спустя полгода после теракта, мы ездили с мужем в Москву. Мы хотели найти суррогатную мать, которая выносила бы нашего ребеночка...

У меня нет матки, я не могу носить в себе плод, но мой единственный яичник еще ведь может что-то сделать, так?

Меня обследовали, взяли анализы, но оказалось... Оказалось, что я вообще пустая... Во мне ничего нет: ни матки, ни полноценных яйцеклеток... Я пустая! Во мне ничего нет! (*Громко и нервно смеется.*) Женщина без матки — кто? Ничтожество... Инвалид... Когда он погиб, я так мечтала о ребенке... Хотя бы одна яйцеклетка!.. Ничего... Ничего... (*Закуривает и замолкает.*)

Мой мальчик был похож на мужа, смотрите... (*Достает фотографии.*) Красивый, да? Славный мой мальчик... (*Мечтательно.*) Такой нежный, такой ласковый... (*Резко, словно очнувшись.*) Муж сдаст сперму, ею оплодотворят другую, то есть, я хотела сказать... я хотела ска-

Юлия Юзик

зать... Ребенка моего мужа выносит другая женщина, не я... Суррогатная мать... Она просто выносит ребенка моего мужа. Моих генов в нем не будет, ну и что? Он был копией отца — вот, смотрите...»

Элла, мать

**молитва**

«Когда она была совсем маленькой, то часто наблюдала за мной во время молитвы. Спрашивала, что это такое, зачем это нужно... Я рассказывала ей о Боге... Когда она подросла, я стала потихоньку приобщать ее к определенным ритуалам, которые полагается совершать. И вот в этот последний год она стала молиться — утром и вечером. Священник научил нас краткой молитве Серафиму Саровскому, и обычно мы именно ее и читали.

Закончив молитву, она становилась на колени и долго-долго что-то шептала, стоя перед иконкой.

В такие моменты я старалась оставить ее одну, потому что считала, что не могу вторгаться в ее внутренний мир, расспрашивать, подсматривать... Я видела, что она о чем-то просила Бога, но никогда не спрашивала, о чем именно.

Но в то утро, когда я ее увидела... Это было не похоже ни на что... Я попробую объяснить... Все началось с вечера. Она купалась. Я зашла к ней, помогла вымыть волосы: ей самой было неудобно — волосы длинные, черные, густые, — в них даже пальцы путались. Вышла, начала готовить ужин; слышу, — она меня зовет опять. Захожу.

— Ну, ты же уже искупалась, что еще?

— Мам, знаешь, я завтра обязательно позавтракаю!

— Что ты говоришь! Позавтракает она! Завтра, наверное, снег пойдет!

Я даже не поверила. Дело в том, что она вообще никогда не завтракает. Даже чай не пьет. «Организм еще не проснулся», — вот так она мне всегда отвечала. Ни-когда не ела по утрам!

— Что ж это за важный день такой, что ты решила совершил такой подвиг?

Вот так мы с ней поговорили вечером. Утром она встала, умылась-оделась, побегает ко мне, — а я в это время плов разогреваю.

— Мамочка, я сейчас помолюсь, а потом позавтракаю, ладно?

— Света, ты должна сдержать свое слово. Если ты уже сейчас не сдерживаешь свои обещания, то дальше ты ничего вообще в жизни не добьешься...

И она меня оборвала:

— Мамочка, мне обязательно нужно помолиться!

Я осталась на кухне: жду-жду, жду-жду, — ее все нет и нет. Десять минут, двадцать... Смотрю на часы: она уже начинает опаздывать. Я ее зову: Светлана! Светлана! Она не отвечает. Я рассердилась — плов уже остыл, чай остыл, — открываю дверь в комнату и застываю на месте... Как жаль, что я не художник: я бы так хотела воссоздать то утро...

Она стояла на коленях, озаренная солнечным светом, и протягивала сложенные ладони к иконе... Свет... Солнечный утренний свет, — такой прозрачный, — что проник сквозь нее.

Я вот вспоминаю ее, вспоминаю то утро, и мне кажется, что она сама светилась в те минуты.

Я была так поражена увиденным — солнечным светом, тишиной, торжественностью момента, — что не сразу пришла в себя.

Что было потом... Я тихонько вышла и стала дожидаться ее на кухне... Прошло несколько минут, и она, закончив молитву, подошла ко мне, обняла и сказала: «Мам, я уже не успеваю, не обижайся, мне нужно будет читать стихотворение на линейке, и нужно прийти чуть раньше». Я так разозлилась: «Господи, Света, испокон веку стихотворения на линейках читают выпускники и первоклассники, ну неужели тебе обязательно нужно идти на эту дурацкую линейку и читать там эти дурацкие стихи?»

Она так расстроилась!

— Мама, ну не могу же я подвести свою учительницу! Она ждет меня!

Это детское чувство ответственности! «Я не могу подвести учительницу!» И все, что скажешь против этого?

Ломать в ней это чувство справедливости, ответственности, говорить ей, что эти качества давно утратили свою ценность в этом мире?

И после всего, что произошло, я — как мать, как человек — должна пережить то, что мой ребенок не смог подвести учителя, а учитель — даже не подошел к ней ни разу в этом спортзале, не утешил, не успокоил...

...И вот она ушла. Закрыла дверь. А через несколько секунд вдруг вернулась: переступила через порог, осенила меня крестным знамением и тогда уже побежала. Что-то было такое в том утре... Необъяснимое... Непонятное...

Я никогда не смотрю ей вслед, но в то утро мне так захотелось открыть окно и посмотреть на нее.

Я отдернула шторы, распахнула окно и долго-долго смотрела на нее: как она шла по тропинке, спеша, но прямо держа спинку... И опять — я вспоминаю ее и вижу ее, залитую солнечным светом... Я смотрела на нее, пока она не скрылась из виду...

А потом, спустя примерно полчаса, я услышала какие-то хлопки, крики. Я испугалась, обулась и выбежала на улицу. Люди бежали и кричали: «Школу захватили, в школе боевики!»

Это было начало конца...

Но, знаете, в те дни... когда они сидели в школе... я была уверена, что с ней ничего плохого не случится. Я умом и сердцем понимала, что исход будет трагическим, но только не для моей девочки! Я думала, что Он выведет ее оттуда.

— Он даст ей крылья, и она голубкой выпорхнет из огня! — как заклинание, твердила я.

Такого ребенка Он не тронет, — так я думала. Тогда, стоя у заграждения, дальше которого нас не пускали солдаты, я видела перед собой то последнее утро, когда она, стоя на коленях, молилась и о чем-то разговаривала с Богом.

Я была уверена, что Он просто послал ей испытание, которое она непременно пройдет, а потом она спасется, конечно, спасется!

Голубкой... из огня... (*Закрывает лицо руками и долго плачет.*) Я была уверена в этом, потому что Он не мог дать в обиду такого светлого ребенка, который был так близок к нему... Молился Ему... Любил Его и верил в Него...

Когда я нашла ее мертвой... подождите... сейчас, сейчас я вытру слезы... Когда я нашла ее, свет померк у меня в глазах.

Как Он мог так поступить с ней? За что? Чем она была грешна в свои двенадцать лет, чтобы сгореть в ад??

Ее черные густые волосы — эта роскошная грива азиатских волос — сгорели дотла... Ее косы... Ее волосы, в которых у меня путались пальцы (*ловит пальцами воздух*), — все, все слизал огонь... Как я могла после этого идти и становиться перед Ним на колени? Как я могла дальше верить Ему?

Он отнял у меня все, Он растоптал меня...

Вам рассказать, как я узнала ее? По зубам... Перед школой я лечила ей зубы в обычной городской стоматологии, и там ей поставили несколько пломб — старых советских пломб серого цвета... Я думала: сейчас пока такие поставим, потому что они надежнее, а потом уж как-нибудь сделаем импортные, современные... Когда я открыла ей рот, я сразу узнала их — серые советские пломбы... Патологоанатом сказал мне: хорошо, что у вас были такие пломбы, — от этих огнеметов в зале была такая температура горения, что современные пломбы у всех поплавились. Пломбы плавились под такой температурой! Представляете, какой смертью погибли наши дети...

И меня не оставлял вопрос: за что? За что такое? Это сейчас я знаю, что нужно отвечать: да потому что Он

## Юлия Юзик

забрал к себе лучших. Так всегда: в жертву приносятся самые чистые, самые лучшие... Но, с другой стороны, разве для матери может быть утешением то, что ее ребенка отняли у нее только потому, что он был среди лучших?

Я очень боялась собственного безбожия после ее смерти... Пока я искала ее в морге, умер мой папа. Я долго не могла ее найти, а папа... — он любил ее больше меня, больше своей жены, больше всего на свете... И в один из дней, когда я в очередной раз бродила среди трупов, ища ее, кто-то подъехал домой к отцу и крикнул ему через калитку: «Света ваша нашлась! Живая она!» И он от этого напряжения, от этого радостного удара — упал замертво. А потом и она нашлась — мертвой, не живой. Мы до сих пор не знаем, кто этот человек, который хотел обрадовать нас прежде времени...

Были такие дни, что после всего, свалившегося на наши головы, я даже не могла подойти к иконке, чтобы увидеть там Того, Кто отнял ее у меня... Мои губы никак не могли вымолвить слова молитвы... Я не могла даже вслух произнести Его имя...

Но потом со мной что-то случилось... Такой момент... Мне показалось, что я тону, — словно кто-то перекрыл кислород, сдавил мне грудь... И тогда я схватилась за веру в Бога как за спасательный круг, — сначала зацепилась за нее, а потом потихоньку начала выплывать.

Я пришла в церковь и покаялась — за свою гордыню, за то, что едва не отреклась от Него... И еще я просила прощения за то, что в те дни, когда мой ребенок умирал от голода и жажды в этой школе, я не молилась о ее спасении. Я должна была стоять на коленях и молиться. Так бы Он мог услышать мои слова... Но в те дни я молчала... Я молчала, я забыла о Боге, хотя мой ребенок в то последнее утро даже отказался от еды, предпочтя молитву насущной пище...

Моя дочь в то последнее утро преподнесла мне урок смирения, урок веры, — который я тогда даже не поняла.

Что случилось со мной после ее смерти?.. Я стала искать свою тропинку к Богу. Потому что наши дети теперь были с Ним, — не с нами. Мне казалось, что если я найду Его, то где-то рядом найду и ее. Я пришла в город, — здесь, на Земле, — где встретилась и с Ним, и с ней. Иерусалим. Земля Бога. И я целовала каждый кусочек этой земли, принесшей покой в мою истерзанную душу...»

Марина, мать

## Мы

«Год почти прошел. Сколько воды утекло с тех пор. Как изменились мы, как изменился мир... Я смотрю вокруг и поражаюсь: что они с нами сделали? Беслан высветил нас, как рентген. Смотрим на свои снимки и не верим: неужели черно-белый скелет — и есть мы? Но мы такие. Без одежд, без прикрас. Не-ет, я не сентиментальница... Что вы! Просто хочется поговорить о нас, о людях... О том, кто мы есть на самом деле...

А ведь знаете, я так и думал. Ну, что все так и случится. То, что произошло с нами после Беслана... После того, как нам выдали эти денежные компенсации... Слово-то какое — «компенсации»!

Нет, деньги не меняют человека. Они просто высвечивают истинную сущность. Человек, может, всю жизнь жил и притворялся чем-то, играл какую-то роль, — потому что вынужден был играть. А деньги, они просто дают свободу. Свободу не притворяться, быть самим собой.

Наша власть поступила очень мудро: сразу после теракта кинула нам денег, чтобы мы передрались за них, порвали друг другу глотки... Нищая страна... Униженные люди... Миллион рублей — тридцать тысяч долларов —

копейки. Наши жизни оценили так низко. Кинули пачки долларов в толпу, как кость собакам. Кто громче лает, тот больше получит. Чтобы всё забыли, накупили машин, построили дома, получили бесплатные квартиры... Заткнули свои рты...

У меня есть один знакомый, фамилию называть не буду, все ж таки он тоже человек... У него в школе погибли жена и две дочери. Если бы вы знали, *как они погибли...*

На второй день умерла младшая девочка: у нее был сахарный диабет, вот она и не выдержала. Бедная мать, боясь, что боевики отберут труп и выкинут в окно, еще сутки прижимала ее к себе: как будто бы ребенок просто спит. Она никому даже не сказала о том, что дочка мертва: так боялась, что их разлучат. Вот она и сидела с окоченевшим трупом на руках...

Третьего числа при штурме они погибли все. Мать с мертвотой дочкой на руках. Старшая дочка, прижавшись к матери...

У мужика вся семья осталась в спортзале. Что, вы думаете, он сделал, узнав об этом?

Наложил на себя руки? Переехал жить на кладбище? Был придавлен горем?

Совсем по-другому все произошло...

Получил три миллиона рублей, — по одному на каждого погибшего, — купил себе машину (ВАЗ «десятку») и стал кутить по борделям.

Там и познакомился с одной проституткой. Она, узнав, что он богатый вдовец, пудрит ему мозги и начинает крутить роман. Потом он решает уехать с этой проституткой в ее родной город. Они садятся в новую «десятку» и едут к ней. По дороге он покупает телевизор, но так как в машине он занимает много места, где-то в Подмосковье они заезжают в автосалон и докупают грузовой фургон: чтобы довезти этот телевизор. Так и остался жить с этой проституткой в ее городе.

Наверное, он просто не любил свою жену и своих детей...

Я же говорю: деньги дают свободу... Свободу не притворяться, быть тем, кто ты есть на самом деле...

Деньги снимают маски.

...У меня в школе погибла дочь... Сразу оговорюсь: приемная дочь, не родная. То есть, понимаете... Для меня она стала родной, я любил ее мать, я любил и ее... Мы были настоящей семьей. Это вам не что-то там... Семья! И она — моя, моя родная, — но только для меня...

Я даже боюсь называться ее отцом. Сейчас в Беслане столько отцов нашлось, вы бы знали! Настоящий отцовский бум! Сколько в суд исков было подано о защите отцовства, о подтверждении отцовства... За каждого погибшего полагается миллион рублей. Деньги дают родителям, вот и вспомнили наши мужики о том, что они были когда-то отцами.

У моей дочери... у Камиллы... был родной отец — да, жив-здоров, куда ж он денется... За три года он видел свою дочь три раза: на день ее рождения. Он бросил Риту с годовалой дочкой на руках, ушел из дома, и все. За все годы он не дал на нее ни копейки денег. Он женился, завел детей от второго брака. Камилле раз в год дарил подарок на день рождения, и все. Только потому, что его просили прийти: чтобы девочка знала, что у нее есть папа.

А потом... Когда все это случилось... Тешно говорить об этом... Был суд над этим террористом, который участвовал в захвате... И судья вызывал потерпевших в суд. От нашей семьи пришел только один потерпевший: отец Камиллы. Ни Ритина мать, ни я — не смогли прийти туда, на этот фарс... А этот человек не побрезговал, пришел. Единственный пострадавший на всю нашу семью... (горько усмехается).

Он выступил там, сказал, что государство отняло у него единственную дочку и что он не знает, как государство может ему компенсировать моральный ущерб... А по-

том, представьте, стал рыдать и упал в обморок! Я, когда это в теленовостях увидел, чуть не умер со стыда...

Человек, который много лет назад бросил своего ребенка, не интересовался, чем он дышит, чем живет, — вдруг падает в обморок перед телекамерами? Теще он сказал, что подаст в суд и докажет, что как отец он имеет право на часть денег, полученных за дочку.

...Как хочется встать под струю воды и отмыться от той грязи, в которую мы сами себя окунаем.

Когда у меня спрашивают, кто погиб у меня в школе, я отвечаю: «Жена и дочь... Приемная дочь». Это больно. Но это только мое. Ничье больше...»

*Владимир, отец*

### малиновое варенье

«Я оказалась в спортзале с двумя своими мальчиками. Жорику — восемь, а Саше — двенадцать. Перед линейкой мальчишки стояли не рядом со мной. А когда начались выстрелы, рядом возник огромный мужик с бородой... Все кричали... «В школу! Все в школу!» Люди были настолько перепуганы этими выстрелами, этими мужчинами в камуфляже, что ринулись в школу, как стадо животных, сбивая все на своем пути. Я упала... Вскочила... Кричала... Звала своих мальчиков. Я ни о чем не думала в тот момент, только одно было в виски — где они, мои дети?

В спортзале я их увидела! Я была счастливой матерью. Я ликовала в тот момент — мои дети со мной! Представляете, в тот момент, момент начала конца нашей жизни... нашего счастья... я была самой счастливой: я нашла своих детей, смогла спрятать их под своим крылом, защитить, успокоить.

Когда спортзал набился народом, — нас же было много, больше тысячи, — было невыносимо тесно, люди никак не могли успокоиться, усесться... стоял невыносимый гул...

Люди были так возбуждены. Боевики несколько раз приказали всем успокоиться, но куда там! Кто плакал, кто кричал, кто звал своих детей. Боевики не контролировали ситуацию и выходили из себя. Тогда из толпы встал мужчина, он поднял руку и обратился к залу: «Пожалуйста, успокойтесь, мы должны быть спокойны, пожалуйста...» Наш, осетин, он хотел нас всех успокоить. Люди подняли на него головы, и... Он не успел договорить. Стоявший рядом боевик в упор расстрелял его... Целой очередью... По крайней мере, мне тогда показалось, что выстрелы были вечными... Они оглушили нас. Порвали слух. Мужчина рухнул. Брызги крови. Мы сидели рядом, и все мое лицо было забрызгано кровью. Все замолчали. Выстрелы — и гробовая тишина. Мы же не думали, что все серьезно... настолько серьезно... и вдруг первый убитый, кровь... Смерть, оказалось, уже была среди нас. Это такой шок... Первый убитый. И — тишина, невыносимая тишина...

Боевики наконец стали контролировать ситуацию. Так они заставили замолчать нас. Выбили из-под нас землю. Жорик вцепился в меня, зарылся лицом в мои волосы и стал рыдать: «Мама, они убили его!!! Убили!!! Мама!!!»

Мой сын никогда не видел смерть вот так, рядом... Был человек живой, — и его убили. Он был так испуган, он, знаете, почти сломался сразу. Мой мальчик. Этого нельзя было допустить.

Я поворачиваю его лицо к себе и говорю: «Жорик, они просто снимают фильм, слышишь, это все понарошка».

Он: «Нет, мама, нет, ты не понимаешь, они УБИЛИ его, мама!»

Я: «Нет, Жорик, ты с ума сошел, как это «убили»?! Нет, это просто фильм!»

Он проводит своей маленькой ладошкой по моему лицу и показывает мне ее, испачканную кровью:

— Мама, это кровь!

У него были такие огромные глаза и расширенные зрачки: кровь, мама, это кровь!!!

Представляете, на глазах у ребенка убивать...

Я тихо так, шепотом: «Жорик, ты что, это варенье, малиновое варенье». Он мне поверил... Переспросил несколько раз: малиновое варенье? Недоверчиво так. Я улыбалась... Чего мне это стоило... Малиновое варенье!

Я не могу после этого видеть варенье. А раньше как любила! Раньше оно было просто вареньем, а теперь... Перед Новым годом свекровь налиvalа его в блюдце, из банки тек темно-красный сироп... Ужас! Невозможно! Я выбежала из комнаты, меня стало тошнить... Малиновое варенье... Смерть... Мой мальчик... Его нет... Он истекал там кровью, он горел... Этот ад... Это малиновое варенье...

Зифа, мать

### миг, мгновение

«Мы знали друг друга, кажется, всю жизнь... Вот вы просите меня рассказать, когда я видела его в последний раз, а мне почему-то сразу вспоминается не последний, а первый раз... Мне так легче говорить о нем. Будто бы он жив, мы счастливы, и все только начинается.

Мы поженились в 15 лет. Он ходил в гости, потом просто остался у нас переночевать, и остался после этого на всю жизнь... Он сиротой был, и как-то вечером бабка просто выставила его за дверь, и он пришел ночевать к нам, потому что, кроме нас, ни одного близкого человека у него не было.

Нам еще и тридцати не было, а получилось, что и вправду полжизни вместе. Мы прошли через все: нищету, учебу в техникуме, его армию, раннее рождение ребенка, мой институт, нашу первую машину — старенький горбатый «Иж»...

Ссоры, измены, тяжелые болезни — всё успели пережить. Два года назад были на грани развода. Потом

поняли, что нужны друг другу. И эта ясность, это понимание нас обоих вылечили... Он нужен мне, я — ему. Это было решение двух взрослых людей, понимаете? Только с ним я хотела прожить всю жизнь и встретить старость, вот и все. Мы уже были не легкомысленными 15-летними Ромео и Джульеттой, мы уже многое про эту жизнь понимали.

После этого примирения началась жизнь совершенно другая. Спокойная. Гармоничная. Мы влезли в долги и купили эту трехкомнатную квартиру, рушили старые стены, а новые возводили. Он все делал своими руками: строил, ставил окна, новые стены, штукатурку... Так получилось, что у меня более удачно складывалась карьера: я работала главным бухгалтером на одном из главных комбинатов Беслана, и главные деньги в семью приносила я... А он занимался домом. Все — смотрите, каждый болтик, каждую полочку, — все он сам... А вечерами меня ждал горячий ужин. Я была счастливой женщиной! Вовочке уже 10 лет исполнилось, и мы мечтали о втором ребенке. Я даже на работе сказала, что в следующем году собираюсь уйти в декрет. Оставалось завершить ремонт в квартире. Сережка как на крыльях летал, счастливый: к тридцати счастливая семья, машина, квартира... Все живы-здоровы... Впереди новоселье, надежды на второго ребенка.

Первого сентября мы Вовочку провожали в школу. Все вместе решили идти, потому что он перешел из старой школы в новую, самую престижную в городе, поближе к нашей новой квартире. Мы бегали в то утро как сумасшедшие: не могли найти Вовкин ремень. Брюки были великоваты, аж спадали, представляете! Уже опаздывали, приехали на новую квартиру — думали, раз туда вещи перевезли, может, и ремень случайно там оказался... Было солнечное, жаркое утро. Мы забежали, пробежали по комнатам, все вверх дном поставили, но ремня так и не нашли. Тогда Серега остановился вдруг посреди кухни, как-то медленно обошел еще раз квартиру... Мебель мы еще не успели завезти, так что квартира напоминала какой-

то аквариум, залитый солнечным светом... Почему-то мне это так четко запомнилось... А потом Сережка снял свой ремень, отрезал ножом кусок и пробил новое отверстие, — подошел к Вовке и отдал ему:

— Ну, сынок, держи! Теперь ты настоящий мужчина!

Надел ремень на сына, и мы поехали...

И вот сколько времени уже прошло, а никак не могу отделаться от ощущения, что тогда, в той пустой квартире, он передал сыну ремень как какую-то эстафету... Он оставил его вместо себя... «Ты теперь мужчина»...

Что было потом? Ну да, мы сели в машину, помчались к школе, конечно, опоздали; линейка уже началась. Серый остался в машине, а мы с Вовочкой побежали искать его класс.

Только нашли, побежали, как какие-то выстрелы и крики раздались. Я ничего не понимала. Какой захват? Что происходит? Вся еще в этой утренней спешке, суматохе. Люди ринулись, какие-то мужики в камуфляже стреляют, дети кричат.

Я хватаю мобильный и звоню мужу: «Нас всех взяли в заложники». Буднично, спокойно. До сих пор не знаю, зачем я это сделала, зачем позвала его туда...

Но тогда... Страх... Я искала защиту... Надо знать Серегу (*грустно улыбается*): он расталкивал толпу, чтобы проникнуть в школу, отыскать нас.

Боже, у него был такой взгляд, когда он нашел нас! Ярость, страх — и, увидев, — успокоение, облегчение. Мы сели все вместе. А уже через полчаса мужчин стали уводить. Нет-нет, я ничего плохого вообще тогда не подумала. Боже упаси! Боевики заставляли их что-то делать, помогать разгружать оружие, барrikадировать классы, окна... Я ничего такого и не подумала тогда...

Правда, потом... Потом, когда я заметила, что Серега в коридоре, я отпросилась в туалет, только чтобы увидеть его, спросить, что они делают и когда вернутся.

Выхожу, на секунды с ним поровнялись. Я спрашиваю:

— Как ты?

— Ничего, вы как?

И вдруг с такой обидой:

— Светка, представляешь, они машину нашу расстреляли!

Он так переживал из-за растоптанного мобильника, из-за машины... Телефон у него старый был, такие уже даже не выпускают, но он очень к вещам привязан был. Свитер по многу лет носил, не стынешь с него. Машина — та вообще как любимая игрушка была, он так долго на нее деньги копил, всегда чинил сам, называл ее «моей девочкой». С такой обидой он это сказал: «Они машину нашу расстреляли!»

...Мы еще ничего не понимали тогда, ЧТО происходит. Не понимали, что наша жизнь уже была кончена, расстреляна, как эта машина.

Тогда было всего лишь дикое какое-то чувство, что кто-то посмел тронуть, разрушить твое, тебе принадлежащее. Представьте, что кто-то врывается в твой дом и начинает на твоих глазах ломать, уничтожать, топтать все то, что ты с такой любовью строил и создавал. Мы чуть не плакали от обиды...

И совсем не осознавали тогда катастрофичность происходящего. Мы еще не успели ничего понять, поэтому думали о мире вещей — растоптанном телефоне, расстрелянной машине, мы дивились той жестокости, которую принесли с собой эти люди, ворвавшиеся в нашу жизнь.

А потом мужчин начали уводить наверх. Я помню это... Как они стали выходить... Его спина... Вдруг какой-то порыв: мне вдруг захотелось во что бы то ни стало обнять его, сказать ему ну хоть что-то, хоть слово! Хотелось закричать, просто чтобы он оглянулся напоследок!

И вдруг он резко оглянулся, мы встретились глазами... Наверное, это длилось одну секунду... Всего секунду... Но

Юлия Юзик

мне хватило, чтобы понять... Прочесть его взгляд... Он смотрел грустно-грустно, но как-то спокойно. Сейчас я могу попытаться подобрать слова, чтобы объяснить, как он смотрел... Грусть... Обреченност... Нет, все не то...

Но это был всего лишь *миг*. Когда мы взглянули друг на друга, мы оба словно увидели нашу будущую жизнь: с посмертной разлукой; незаконченным ремонтом; с холодной постелью; увидели Вовку, которому суждено стать безотцовщиной; нашего неродившегося ребенка...

То, что мы увидели в глазах друг друга, было таким страшным, оно окатило нас ледяным кошмаром, сковало тело, свело дыхание... Я зажмурила глаза, чтобы стереть, забыть увиденное, а когда открыла, уже ничего страшного не было: мужчины вышли из зала, кругом голосили дети, кто-то просил пить, было невыносимо душно, я взяла в руки какой-то листок из школьной тетрадки и стала обмахивать им Вовочку. Начались мучительные часы ожидания. Начала переговоров. Начала освобождения. Я смотрела кругом, и меня грела надежда: кругом было очень много детей, значит, нас освободят. Я почему-то считала, что власть даже не будет думать, как ей поступить. Столько детей они не могли убить...

...Потом, все произошло потом... Вспоминаю сейчас, и все словно в тумане... Мы с сыном спаслись, прибежали домой и только там узнали, что уведенных первого сентября мужчин боевики расстреляли в тот же день.

Потом, все потом... Его похороны. Гроб мы привезли в дом моих родителей: он же рос там с пятнадцати лет, это был дом, в котором начиналась наша жизнь... Старый пес, который жил у нас много-много лет, бежал за гробом несколько километров... Представляете? Он все понял, кого привезли в закрытом гробу. Страшный, неказистый пес-дворняга, которого только Серега и любил, — он понял, что из дома уносят Хозяина. Помню: страшный ливень, черное небо, машина с гробом и визг собаки, старой слепой собаки, несущейся за нами по размытой дороге...

Вот так мы все и попрощались с той жизнью, которая была у нас... Пес вскоре умер... Мы въехали в новую квартиру, — уже без Сережки.

Мне иногда кажется, что началась какая-то другая, совсем другая жизнь...

Словно на семейной фотографии кто-то вырезал его лицо... Как будто его и не было... Это так странно... Невероятно... Я никогда не думала, что жизнь можно изменить так легко. Словно прошлое отобрали и велели начать жить заново.

Вот мы и учимся... заново. Теперь каждые выходные мы едем на кладбище, к нему в гости. Если я куда-то улетаю, обязательно привожу из поездок ему подарок — как раньше. Но везу его уже на кладбище... Подарки стали другими. Свечки. Благовония. Резные фигурки — то, что ему теперь может как-то пригодиться...

Я боюсь спать одна. Понимаете, я половину своей жизни не спала одна!.. В первые ночи с ума сходила: то мать попрошу рядом лечь, то сына, — выть хотелось от этой тоски, от этого одиночества. Остаешься наедине со своими мыслями, и они приходят ночью, и говорят разными голосами, и не дают уснуть...

Всю жизнь голой спала, а теперь не могу, кому нужно мое голое тело?

Вдовство — это холодные простыни...

А самое ужасное, знаете (*словно спохватывается*), — это момент пробуждения. Уже проснулся, но медлишь открыть глаза. Мечтаешь: хоть бы все оказалось сном, страшным сном; проснуться бы и увидеть его макушку... Открываешь глаза — никого... Тишина...

А ведь знаете, я все это прочла тогда в его взгляде... Когда он обернулся и посмотрел на меня. Я все это увидала еще тогда, в тот первый день. Свое вдовство, холодную постель, выходные на кладбище...

Такое бывает. Бывают такие моменты, вот, знаете, когда словно кожей чувствуешь, как уходит любовь. Уходит сама жизнь. Момент, когда вся твоя жизнь превращается в воспоминания. Ты в силах запечатлеть это, зафиксировать, но не в силах остановить, задержать, вернуть.

Тогда, в спортзале, мне хотелось кричать. Ведь уже тогда я почувствовала, что так, как раньше, не будет никогда...

Миг, мгновение. После него все станет совсем иным...

На третий день мы уже понимали, что пришел конец. Никого не выпустят, никого не освободят. Я третий день не видела мужа: женщины, сидящие рядом, говорили, что мужчин изолировали от женщин, что они под охраной на втором этаже, — так, мол, боевики контролировали ситуацию. И я в это верила. Мне сказали даже, что Серега все равно начал заступаться за детей, стал кричать на боевиков, и им пришлось выстрелить ему в руку, — но он жив, перевязан и лежит на втором этаже. И в это я верила. Это было в его характере — так поступить.

Я копила в себе силы, ждала встречи с ним, оберегала сына... Я заставляла себя верить только в хорошее. Потому что, если бы я знала, что Сережка уже мертв, что он уже третий день лежит в куче выброшенных со 2-го этажа тел, — я бы ни за что не продержалась.

Мы искали его только 3 сентября, и к вечеру уже нашли. Приехал мой брат, зашел в квартиру и так посмотрел на меня... Я сразу все поняла. Уткнулась головой в стену и зарыдала. Брат у меня военный, вэдэвэшник, в Чечне служил, и он сразу сказал: «Свет, я на войне много разного видел, я привык. Но тебе это видеть нельзя». Ведь они были убиты еще первого сентября, в первый день... Троекуток их тела лежали под солнцем и дождем.

Какое чувство вины, вы бы знали! Его убивали, а мы сидели в спортзале, мы мечтали о глотке воды. Как мелко — глоток воды! Когда он умирал...

Сейчас мне кажется, что это он защитил нас. От сквозняка, от осколков, от взрыва. Это он незримо охранял нас в те дни. Отдал свою жизнь ради спасения наших. Закрыл нас собой. Он — наш ангел-хранитель.

Когда мне кто-то пытается рассказать о том, как он умирал, я говорю: все, стоп! Я знаю только то, что моего мужа убили в кабинете литературы. А больше я не хочу ничего знать: как это происходило, кто в него стрелял, его последние слова...

Я с того дня, с 3 сентября, больше не была в школе и никогда туда не пойду. Я знаю, некоторые женщины превратили этот кабинет литературы в место паломничества. Они прикасаются к следам крови на стене, ищут какие-то предсмертные записки, вещи. И медленно сходят с ума. Невозможно... Эта школа, спортзал, кабинет литературы — это конец нашей жизни. А мне не хочется вспоминать конец, мне хочется вспоминать начало...»

*Светлана, вдова*

### моча

«Кто-то из взрослых первым начал пить мочу. До этого все мы стеснялись. Если бы я начала ее пить первой, надо мной бы все смеялись. А после взрослых уже было не так стыдно. Какая-то мама стала пить мочу своего сына. Я на нее посмотрела и подумала: ну, и что тут такого? Не умирать же, в конце концов?

И я тоже попросила глоток мочи. Ужас! Она так воняла... Кисло-горькая, такая резкая на вкус... И стыдно было писать и пить тут же то, чем написал. И брезгливо. А вот от маленьких я так не брезговала. Я давала тряпочку малышу, который рядом сидел, он писал на нее, и я потом сидела и высасывала из нее влагу. И обтираться этой тряпочкой можно было. В такой духоте многие стали терять сознание... Мне тоже было плохо, во рту все уже пересохло, глотка воды уже не достать было, поэтому мы писали все реже и реже, и даже моча уже стала драгоценной».

*Анжела, заложница*

# ||

небо

«Утро. Необычайная тишина в небе. Но что это? Сладкая, едва уловимая музыка. Это запел жаворонок. А ведь сверху так интересно смотреть на людей. Вот в этом доме зажгли свет, а из того выбежали трое босых ребятишек.

Слышно стало, как лает собака, кричат петухи. Звуки заполнили тишину, а я все лечу, лечу и лечу по небу».

Эмма Хаева, 2003 г.  
(Через год сгорит в школе №1)

# 0

отец

«Рано утром первого сентября я поехала в Нальчик — соседнюю Кабардино-Балкарию. Нужно было купить кое-какой товар для нашего кафе... Не могу себе простить... То утро... Понимаете, в Кабарде на каждом шагу милиционские посты, во всех школах отменены праздничные линейки, базары закрыты... А это — всего каких-то двадцать—тридцать километров от нас... Они были предупреждены, готовы... Ну а я... Я словно слепая была: не увидела, не поняла ничего, не догадалась...

Часам к десяти я вернулась в Беслан. В городе такой переполох стоял уже... Люди кричат, толпы на улицах. «Школу захватили террористы!»

Несусь домой как сумасшедшая. Мои мальчики — Алан и Аслан — должны были быть на линейке. Оба не хотели, звонили мне на мобильный:

— Мам, можно мы на линейку не пойдем? У нас столько дел дома...

Но я запретила. И вот бегу домой, в надежде: вдруг ослушаюсь? Калитку открываю, а навстречу мне моя мама:

— Не волнуйся, Руслан с ними!

У меня такая истерика началась: Господи, еще и муж пошел... Всех, всех своих мужчин разом потеряла...

Муж у меня высоченный — под два метра ростом. Могучий, как дуб... Издалека видно... Так и поняла я сразу: его не смогут не заметить...

Бегала по дому, схватившись за голову: «Мальчики вы мои, мальчики...»

В первый момент мы вообще не осознавали того, что такое может быть... Вроде бы телевизор смотрели, слышали и про теракты, и про захваты... Но все это было

## Юлия Юзик

где-то далеко, не с нами, не здесь... Нам казалось, что война — это когда стреляют где-то далеко...

Пойдемте, выйдем со двора. (*Выходим.*) Вон, — видите? Это и есть школа! Метров сто, да? И вот эти сто метров мне уже вовек не одолеть... Мой муж, мои сыновья находились в ста метрах от меня... а я ничего, ничего не могла сделать для них...

Не могла даже приблизиться...

Наш двор, — все мы — были под прицелом снайпера... У меня появилась мысль: плюнуть на все и помчаться наперевес к ним, через железную дорогу, ворваться в спортзал, найти их, обнять... Но если бы я побежала, снайпер сразу нажал бы на курок...

Поэтому я ждала их. Ждала, как только может ждать мать...

Но еще в первый день, в первый час внутри что-то оборвалось... Словно треснуло что-то в груди... Первые выстрелы... Первые раненые... Их выносили со школьного двора, а капли крови оставались на земле, на бульжниках... Кровь... Когда я увидела ее, мне почему-то стало холодно... Очень холодно... День был жаркий, а я замерзла...

Но я ничего тогда не знала...

Ничего...

Тогда я просто ждала...

Мы, женщины, собрались в стайку и держались друг друга... Успокаивали, утешали... Мы все были в одинаковом положении: мы столкнулись с войной, которую никогда не видели, а потому не знали, что с ней делать...

Два дня наши нервы были на взводе. Несколько раз мы уже хотели взяться за руки и ринуться вперед, на школу... Нас было много... Очень много... Сотни... Нас могли убить, но мы и мечтали стать живым щитом для военных: пусть они прикроются нами, пусть нас разорвут пули, но только бы они успели прорваться в школу, начать штурм и спасти наших детей...

В первый день мы были готовы к этому. Но власти уговаривали нас. Пугали. Говорили, что мы все испортим. Что будут переговоры.

— Только не надо крови! — вот так какой-то чиновник нас просил.

И мы поверили им.

Третьего числа уже все в Беслане говорили о том, что скоро начнется штурм. Мы были на грани истерики: бегали, хватали за рукава милиционеров, военных:

— Умоляем! Только не штурм! Вы же всех их оставите там навсегда!

Они все отрицали.

И вдруг к полудню мы поняли: начинается. В панике решили предпринять что-то срочное... Притащили из Дома пионеров старые плакаты и на обратной стороне стали писать обращения к Путину. Кто-то из девочек побежал к телевизору, чтобы сообщить им, что мы начинаем митинг.

Я до сих пор помню те слова, что мы писали... Они у меня стоят перед глазами...

«Путин, пожалуйста, не разрешай их убить!»

«Путин, у тебя же тоже есть дочери!»

«Не допусти штурма».

«Спаси наших детей!»

Мы дописывали последнее, когда раздался первый взрыв... Такие смешные и наивные слова... Как жалко они смотрятся, да? Как жалки мы в своем горе...

...Я все же нашла их. Младшего — в спортзале. Старшего — на улице, возле окна. Он понял, что брат остался в школе, и возвращался за ним. А мужа убили еще в первый день. Его тело валялось под окнами кабинета литературы...

Но кошмар для меня только начинался... Если бы вы знали... Жаль, что моих мальчиков нет в живых, — это

они должны были рассказать вам... Про отца... Про то, что они пережили там... Что они видели...

Как я могу рассказать об их чувствах, о том, что им пришлось пережить в те дни?!

Вы слышали уже, наверное, о том, как в первый день, на глазах у всех, террорист расстрелял мужчину? Так вот, он убил моего Руслана... Я так и знала, что они побоятся его: сильный, высокий, как дуб... (*плачут*)... как дуб, и срубили его... Он большим таким был... Но душа — как у ребенка! Когда всех в спортзал загнали, женщины плакали, дети плакали... А он сел на корточки и стал всех успокаивать, утешать; говорил по-осетински: не бойтесь, возьмите себя в руки, все решится... Все повернулись к нему и стали слушать... И тут... (*срывается и начинает рыдать*) ...к нему подошел главный боевик — и в затылок, в упор... автоматной очередью...

Он рухнул, как подкошенный... Старший, Алан, подскочил к боевику и набросился на него. У него истерика началась, он плакал, кричал:

— Это же отец! Я тебя убью! Я запомню тебя и убью!  
Террорист в него автоматом ткнул.

— Заткнись, щенок, а то и тебя убью.

Женщины кричать стали, визжать, и он его не тронул... Оба мальчика сидели перед отцом на коленях и повторяли... (*плачут*)... сейчас... я только... повторяли: «Его не убили... его просто ранили, ранили»... Отец — такой большой, такой сильный — и лежит в луже крови. Он был для них всем, понимаете? Отец не мог так умереть...

Потом боевики для устрашения протащили его труп через спортзал и бросили в конце... (*Захлебывается в слезах*.)

Алан прополз через весь зал к нему и сел рядом... Потом содрал с себя белую рубашку... Мы ее накануне во Владикавказе купили, специально для 1 сентября... Такая красивая белая рубашка... Тонкий хлопок... И вот он содрал ее с себя и стал ползком, на коленках, оттирать ею отцовскую кровь с пола... После того как Руслана оттащили в конец спортзала, через весь зал протянулась кровавая полоса. Кровь быстро засыхала, и Алан ногтями отдирал ее от деревянного пола...

Потом он сидел голый по пояс на коленях перед отцом и плакал. Что-то шептал ему на ухо, гладил руку. А потом своей рубашкой отца прикрыл.

От взглядов, от взглядов чужих...  
(*Плачет*.)

Весь день он просидел над ним, пока боевики не приказали убрать тело.

Младший — он совсем другой был. Замкнутый, неразговорчивый. Он даже плакать не мог. Он сломался сразу, как рухнул отец...

И вы знаете, что до сих пор больнее всего для меня? Что до сих пор не дает мне возможности хоть как-то успокоиться?

То, что после смерти отца они остались одни.

Ни одна женщина в этом спортзале не подошла к моим детям, чтобы приласкать их, успокоить... Ни одна живая душа... В этом спортзале каждый думал о себе...

Я хочу спросить у этих учителей, у директрисы: после того как на глазах у детей убили отца, она могла хотя бы просто подойти к ним, сказать ласковое слово? Директриса единственная могла свободно ходить, перемещаться по залу... И она знала моих детей... Она видела — все видели! — как расстреляли моего мужа.

Ладно, я смирилась с тем, что моим детям не суждено было больше жить, но умереть такой страшной смертью... Пережив на своих глазах расстрел отца...

Первая кровь... Та кровь была моей, родной... Она текла в моих сыновьях... Мое, родное все, любимое...

На улице жара, а мне холодно... (*Замолкает*.)

После первого взрыва старший выжил, он даже успел из школы выскочить. А потом на улице оглянулся: а младший не бежит за ним следом. Развернулся — и обратно в школу. Мальчики закричали ему:

— Куда ты? Куда? С ума сошел?  
— За Асланом. Что я маме скажу?

Юлия Юзик

Он не дошел туда. Его застрелили. Для меня до сих пор вопрос: кто застрелил? Я все больше убеждаюсь в том, что боевики в детей не стреляли. А у моего — ранение в селезенку... Ее просто разорвало пулей... Подстрелили, как зайчика... Я, когда его из морга забирала, не могла поверить заключению судмедэксперта: «на 60% сожжен взрывной волной». Не было такого! Он вообще не сгорел, целехонький, словно спал. Одна рана в животе, и все. И вот я думаю: зачем в документах наврали? Почему написали про взрывную волну, а про пулевое ранение ни слова? Скрывают, пытаются утаить, что сами в детей и палили без разбору...

Младший погиб после второго взрыва. Ему было очень плохо, он ранен был. Мне рассказали, как он кричал: «Хоть перед смертью дайте воды попить!» (*Долго молчит.*) Он заживо сгорел, так и не напившись...

Мужа я нашла сразу, в тот же день, отвезла его в деревню готовить к похоронам, а сама сразу в морг поехала. Детей искать. Что там творилось! Рядами на земле лежали тела... А у входа, шириною метров в десять, лежала kleenke... И на этой kleenke были руки, ноги, какие-то части тела... Все в саже, пепле...

Алана я сразу нашла, издалека заметила. Алсан рядом лежал. Но его узнать невозможно было. Весь черный. Я встала перед ним — и отойти не могу. Позвала судмедэксперта, он его линейкой замерил, посмотрел и говорит: «Мужчина 25 лет». Я головой качаю: нет, это мой мальчик. Эксперт: «Нет, мужчина». Что я, своих сыновей не знаю, что ли? Мои мальчики крупные были, высокие, рослые, в отца. Это он был... Он, мой младший... Полголовы не было и одной руки, а у другой кисть оторвана была... Я ее на kleenke искала — не нашла. Сгорела рука в спортзале...

Мне его тогда так и не отдали, увезли в Ростов на ДНК-экспертизу. А в конце сентября пришло подтверждение: да, это он.

Вот так я их и хоронила. Одного за другим, всех раздельно.

Удивляюсь, как я могу рассказывать об этом? Это такая боль...

Я хотела уйти... Приду на их могилки, сяду рядом и слышу голоса, стрельбу, крики... Штурм... А я бегаю, ищу... И нахожу их одного за другим: мертв, мертв, мертв... Все в том дне осталось: надежда, жизнь, прошлое и будущее.

Но я живу. Видите, я до сих пор живу... Теперь я даже знаю, зачем... Я нашла смысл... Понимаете... Если я уйду, кто будет смотреть за их могилами? Следить, чтобы на них росли розы, выпалывать сорняки? Кто будет рассказывать о моих мужчинах? Они живы ровно до того момента, пока жива память о них.

Поэтому я остаюсь: чтобы рассказать вам, как мы страдали, любили. Я хочу сказать вам... Вдруг вы оставите мои слова в своей книге... Любите тех, кто рядом с вами, старайтесь жить так, словно каждый день может оказаться последним...

Может, кто-нибудь услышит мой голос и узнает о моих мальчиках, которые так любили своего отца, и обо мне, которая любила их больше всего на свете...»

Эмма, мать и вдова

### оцепление

«Три кольца оцепления, говорите? Нет, я только одно видела. Вот одно точно было. Наш дом в ста метрах от школы. Второго и третьего нам запрещали из дома выходить. Но мы, конечно, бегали...

А вот за нашим забором столб фонарный, видите? Под ним два дня солдатик сидел. Он и был тем самым «кольцом». Правда, заставил он нас поволноваться!

Мы во дворе табуретку ставили и на нее забирались, чтобы посмотреть, что там, за забором, делается. Второго вечером поднялась я на табуретку, смотрю: солдатик сидит под столбом и голову набок повесил. Я встревожилась: вдруг чего случилось? Слезла с табуретки, а через несколько часов не выдержала и опять туда же, смотрю: так и сидит, бедолага. Попа на земле, ноги вытянуты, автомат рядом стоит, а голова на плече лежит. Я перепугалась! Солдат этот сидел на хорошо просматриваемой боевиками территории и всегда у снайпера под контролем был. Иногда, когда тому скучно было, он постреливал по соседским курам или по жестяным банкам из-под колы, которые на траве валялись.

Вот я грешным делом и подумала, что снайпер этого солдатика подстрелил. Маялась-маялась, а потом думаю: была не была, подойду к нему, вдруг кровью истекает. Открываю калитку, одолеваю несколько шагов, приближаюсь, дергаю за плечо... А он храни-и-ит! Так сладко ему спалось, видать, что вообще ничего не слышал. Даже не проснулся, когда я его за плечо тормошила!

Вот такое у нас было кольцо оцепления! А вы говорите...»

*Раиса, жительница Беслана,  
проживающая по ул. Коминтерна*

### овсянка

«Семья у моей дочери не складывалась с первых дней. Родила двоих близнецов-мальчиков Аслана и Сослана, а забирать из роддома некому. Не нужна она была ни мужу, ни свекрови — никому. Свекровь мне позвонила: у меня ничего нет, чтобы их из роддома забрать, съезди ты за ними. Мы с мужем и поехали. Аслан был крепким мальчиком, кровь с молоком, а Сосик — слабенький, больной, на сдувшийся воздушный шарик похожий...

Я мальчат увезла не к себе домой, а к своей матери, — боялась мужинного гнева, ведь это дочкины дети, не мои. Он вначале считал, что дочка со своим мужем должны

сами их растить, коли уж родили... Это потом он к ним прикипел...

Мать у меня русская, хорошо знала народную медицину, травками людей лечила. Начали мы мальчишкам выхаживать. В травах их купали, молочком отпаивали (я на молочную кухню ранним утром бегала), мазали какими-то домашними целебными кремами. Сосик стал вес набирать, щечки порозовели — словно в него жизнь вдохнули! А ведь врачи говорили, что не жилец он...

Ой, какие хорошенъкие мальчики у нас получились! Загляденье просто.

Характеры у них разные были, это да. Аслан — серьезный, мужественный, сильный, суровый такой, знает. А Сосик — ласковый, заботливый, чуть помягче. Я их, конечно, обоих любила, но Сосик мне как-то ближе был. После школы они шли заниматься в продленку, а когда занятия заканчивались, Аслан бежал домой, а Сосик — на улицу Кирова, меня встречать. Каждый день так: стоит, мороз ли, дождь ли... Выглядывает... Как увидит меня, бежит навстречу, сумки забирает, и идем мы домой. Он не стеснялся ходить вот так, рядом с бабушкой. У меня зрение плохое... катараクта на обоих глазах, оперировали меня, — одно время ну просто слепая была. Сосик все время рядом ходил, за руку держа.

— Бабу, аккуратно, здесь сейчас ямка будет!

— Бабу, здесь лужа, обойти нужно!

Я от счастья своими слепыми глазами плакала. Все ночи мои бессонные, их болячки, нужда — все отступало, когда он меня вот так за руку вел.

Они мне так говорили: «Бабу, вот сейчас ты за нами ухаживаешь, а потом мы еще немного подрастем, и будет наоборот. Мы построим большой дом, будем зарабатывать деньги и заботиться о тебе. Ты будешь просто сидеть дома, как королева, а мы будем тебя защищать».

Мальчики мои... Как я любила их... Дороже детей родных они были... Я их выкормила, вырастила, радовалась им, как цветам, как солнцу...

Они со мной жили, а мать их во Владикавказе — она там работает парикмахером в салоне, квартира у нее там же, в городе. Мальчишки к ней изредка в гости ездили. А

иногда я с ними неправлялась, с двумя, особенно с Асланом, у него характер своенравный, тогда я сама отправляла их к матери. В августе Аслан что-то натворил, меня не слушал, я осерчала и отвезла его в город.

А это уже дочка потом рассказывала. Аслан спать собирался, вдруг подошел к ней и говорит:

- Мама, я скоро умру!
- Что ты такое говоришь, сынок?!
- Не знаю, мама, но я скоро умру...
- Ну-ка марш в кровать, всякие глупости несешь!

Он прижался к ней, поцеловал в щеку и ти-и-ихо так сказал: «Мамочка, но я-то правда умру...»

Скажите, откуда это взялось? Предчувствие это или что?

Я хочу вам рассказать, во что наша жизнь превратилась после этого. После 1 сентября... Как все у нас обрвалось и полетело куда-то в пропасть.

Дочка моя мало с сыновьями времени проводила — все работа, с утра до вечера... Зарабатывать приходилось, мужа-то нет, рассчитывать не на кого. Она думала, что впереди много времени, что она еще успеет — доиграть с ними, доучить, долюбить... Они без матери росли. Она же молодая, все пытается строить свою жизнь...

А теперь ни жизни, ни детей...

И времени уже нет и не будет никогда...

После их похорон она уволилась с работы и целыми днями сидит на кладбище. Вымаливает у них прощение. Надо же так, что должно было случиться, чтобы они мать каждый день видели... Такое зрелище, я вам скажу... Каждый день с утра уезжает на кладбище и до вечера сидит у них... Разговаривает с ними, плачет, смеется... У меня сердце кровью обливается, когда я вижу ее такой — худой, бледной, черной, разговаривающей с могилами.

Но как запретишь ей, как отговоришь?

Никогда они не были так близки, как сейчас... Мать и сыновья...

Я боюсь за нее... у меня перед глазами пример мужа. Он тоже не смог без них. Только он не на кладбище ходил, а в школу... Каждый Божий день...

Этот спортзал стал для него храмом, убежищем...

Уходил туда, бродил часами... Сгоревший ботиночек принес, поставил его к себе в комнату на стол и смотрит на него часами, как будто что-то хочет увидеть в этом ботинке.

Потом какие-то обрывки школьного дневника нашел... Воду в бутылках каждый день носил в спортзал:

— Мальчишки наши пить хотят, мать! Все напиться не могут...

Он что-то хотел найти в этой школе, удостовериться в чем-то, понять что-то важное.

Однажды он меня с собой позвал... Один раз ходила! Только ступила на порог спортзала, а меня оттуда словно волной выбросило. Такое ощущение, что ступаешь на детей, идешь по их косточкам, по головам... Там такая энергия, в этой школе, я вам даже описать это не могу.

Его туда тянуло, а меня — выталкивало. Его тянула смерть, а меня — жизнь.

Он, как зачарованный, жил почти в этой школе. Первое время он и еще десяток отцов и дедов по вечерам шли в спортзал и начинали во весь голос кричать... Прощения просили, что не смогли помочь, уберечь... Школа дрожала от мужских криков...

Странное дело, просто рассказываю вам, а уже не по себе. Муж мой на валидоле сидел все следующие четыре месяца. А как-то утром проснулся желтым. Кожа желтая-желтая, глаза желтые, ногти желтые... С постели с трудом поднялся. Что такое?

Мы к врачам, а они руками развели: желчные протоки закрылись, и желчь уже ушла в кровь. Муж не удивился, не расстроился, как будто он только этого и ждал, — лег и сказал, что больше не будет ни есть, ни пить. «Они не пили трое суток, я хочу умереть так, как они». Глотка воды больше не сделал.

Не знаю, может, он все-таки нашел что-то в этой школе? Какое-то знание?

Он умер ровно через три дня; три дня смерть ждали и Сосик с Асланом.

Я за несколько сентябрьских дней полностью поседела. Смотрю на себя в зеркало и не узнаю: вижу какую-то изможденную старуху. Мой муж в могиле, внуки в могиле, дочь живет на кладбище...

А я словно жду их до сих пор... Первые месяцы были невыносимыми, никак не описать все это: утром просыпаясь — тишина. Ни смеха, ни топота, ни стуканья чашек, тарелок... Я от этой тишины повеситься хотела. Последние десять лет я только ими жила, дышала. Каждое утро встаю пораньше — завтрак готовлю. Это как утренняя молитва для меня, как божественный ритуал. Как они кашу любили, мои мальчишки! О, это что-то!.. «Бабу, какую вкусную кашу ты варишь!» — И ложки громыхают по тарелке.

Они и рис любили, и гречку, и манку, но больше всего — овсянку. Обожали ее, на домашнем молоке, с кусочком сливочного масла, с сахарком... Когда их похоронили... Так трудно говорить... Я на следующее утро им все равно кашу сварила.

Десять лет ведь так... Не так легко все забыть, перечеркнуть, отвыкнуть... А потом каждое утро... Вот уже второй месяц. Встаю, тихонько захожу на кухню, достаю из холодильника молоко, масло... Потом крупу... Слезы капают в кастрюльку, молоко размешиваю, ложечку сахара кидаю... Потом раскладываю по тарелкам, ложки рядышком кладу: «Доброе утро, мальчики мои... Бабу вам кашу любимой сварила...»

Рядом сажусь — как всегда, между их стульями; — смотрю, как каша остывает, и плачу... Что моя жизнь теперь?

У меня сердце падает в пятки, когда кто-то в дверь стучит. Вскакиваю: вернулись! А потом... Умом-то я все

понимаю, — что они никогда, никогда уже не вернутся. Не обнимут меня. Не доедят свою кашу...

Мой муж на кладбище, внуки на кладбище, дочь уже почти на кладбище... Что случилось с нами? Почему? Я не могу смириться. Я хочу их ждать. Мне так чуточку легче: ждать. И я до сих пор варю им их любимую овсянку...»

*Света, бабушка*

### ОСКОЛКИ

«После операций у нее начались адские боли. В ее теле осталось столько осколков! Штук тридцать изъяли, но это не все, много осталось внутри. Достать их невозможно — совсем крохотные и находятся в таких местах, что хирурги боятся туда забираться.

Один, например, в районе позвоночника. Мы врачей просим: достаньте же вы всю эту дрянь из нее, освободите ее от этих мучений...

Как она кричит перед дождем, Боже милостивый!

Осколки — мы их ни с чем не спутаем, мы их сразу узнаем по ее крику. Глаза на пол-лица и раскрытый рот... По дивану катается, руки кусает... «Мама... мамочка... мама!»

Как погода меняется, у людей давление падает, суставы крутит, а у моей девятилетней девочки позвоночник разламывается от боли... И ноги, спина, руки, все, все...

Как после войны, Господи...

Кто бы мне сказал год назад, что мой ребенок вернется из школы с тяжелейшими военными ранениями... Ну так вот, простите, я немного отвлеклась... Врачи боятся вынимать из нее засевшие внутри осколки. Говорят: если начать оперировать позвоночник, нет гарантии, что она не останется прикованной к постели или к инвалидной коляске... Поэтому жить она будет с кусками железа внутри.

...Так ей и придется кричать всю жизнь перед дождем».

*Светлана, мать 9-летней Ани*

## II

## первые шаги

«Я его узнала по пальцам ног. В палату меня не пустили: сквозь стеклянную дверь смотрю, и прямо за ней кровать, белая простыня и голые ступни. Пальчики... Его пальчики... Еще лица даже и не увидела, а уже узнала. Я рыдать стала от счастья. Врач подходит, берет меня под локоток, отводит от двери: еще рано радоваться, он в тяжелом состоянии, жизнь на волоске.

А я все равно плачу. Меня не пустили к нему, приказали домой возвращаться. Выхожу, — на улице ночь, льет дождь. Мокро, душно. Капли по лицу хлещут. А я стою и шелохнуться не могу. Мне сказали, что он в коме, никого не слышит. Он не слышит, но Бог-то слышит! Вот я стала Бога просить о том, чтобы он вернул его мне. Плачу, смеюсь от счастья... Сколько матерей этим вечером нашли детей в морге... Сколько там сгоревших, обугленных косточек. А мой — жив! Под белой простынкой, в стеклянной палате, пальчики одни торчат...

Но жив, жив... Самое главное.

На следующее утро его военным самолетом отправили в Москву. Я какие-то вещи в сумку покидала, за час собралась и — за ним. Даже своего старшего не успела повидать. Он из школы на своих ногах убежал, пара царин на лице, и все, как будто на улице подрался. Быстро все, наспех, в такой суматохе-то! На следующий день я уже в Москве была, вместе с ним, младшеньким.

Тапочки, халатик, зубная щетка — весь мой багаж. В чем была, в том и уехала.

Думала — ненадолго, а оказалось — на несколько месяцев. Первое время прямо в отделении жила. Там меня к нему и пустили в первый раз... Захожу: тишина, он ле-

жит, глаза закрыты... Бледный, словно выстиранный, одни пальцы из-под простыни выглядывают... И весь восковой какой-то... На лице маска, миллион трубочек, словно вены, по которым кровь бежит. Я на колени перед ним встала... До рук дотронулась, а они ледяные, — как у мертвого. У меня комок в горле. Чувствую: лицо горячим становится. Руку подношу, провожу пальцами: слезы... Сами по себе... Слезы катятся и катятся.

Когда стояла перед ним на коленях в реанимационной палате, в первый раз — верите? — подумала о хрупкости жизни. Вчера он бегал, гонял по улице кота, стрелял из рогатки, а сегодня дышит через маску. Мой мальчик... Словно кто-то выдохнул из него жизнь, забрал все силы, увел душу... Один день, одно мгновение — и все может исчезнуть...

Первый месяц — операция за операцией. Врач заходит в палату, долго его осматривает, потом на свет смотрит рентгеновские снимки, качает головой.

— В черепе большой осколок, пока мы его не вынем, он так и будет в коме. Но его трудно будет достать: рядом жизненно важные сосуды...

Я дежурила у дверей операционной. Час, два... Потом слышу: шорох у дверей, колеса шелестят. У меня сердце чуть не лопнуло: представляю, что двери открываются и вывезут его ногами вперед... Эта секунда, момент... Руки задрожали, ноги подкосились... Секунда... Двери распахиваются, вижу: головой вперед, жив, жив!

Два с половиной часа вынимали осколок. Трепанация черепа. Это не нога, не рука. Головной мозг. Доли миллиметра — и смерть. Или — инвалидность.

Он вынес. Девять лет, обычный мальчишка, а вынес. Для меня эта операция была такой важной! Я так себе сказала: если он перенесет ее, значит, выкарабкается.

Каждый день я около него сидела. Первые дни только плакала. Сяду над ним и причитаю. Вдруг врач в палату заходит.

— Что же вы делаете?! Вы что, хотите его в могилу свести? Он не слышит вас, не видит, но все чувствует.

Вы же мать, ваше состояние ему передается! Так он никогда не выберется.

Боль, отчаяние — это все всегда в душе было. Но при нем я старалась теперь держаться. В церковь иду, свечку зажгу, встану на колени, все глаза выплачу. А к нему захожу, улыбаюсь, рассказываю про дом, про отца, про брата.

Страшно было... Очень страшно... Говорю с ним, за руку держу, — а у него ничего не откликнется. Ну, думаю, хоть бы веко дрогнуло, хоть одна мышца на лице... Ничего! Я ему ножки целовала... Встану перед ним на колени и целую их, дышу, дыханием своим согреваю... Он холодный такой был, вы себе представить не можете. Дышу-дышу, а согреть не могу...

Врач утром заходит в палату.

— Как вы, держитесь?

— А что еще мне остается? — отвечаю.

Сейчас он в стабильно тяжелом состоянии, мы находимся, делаем все возможное, главное — чтобы у него хватило сил бороться.

Он говорит, а у меня перед глазами все расплывается: «Состояние стабильно тяжелое... Восьмой день комы... Отек головного мозга... Перелом основания черепа... Может потерять память, зрение...» И что-то еще, только голос его куда-то уплыл, далеко-далеко... Откуда-то издалека крики врачей, шум и — тишина.

Каждый день я жила, как последний. Смотрю на него и насмотреться не могу. Слезы душат. Как я его на руки первый раз взяла... В макушку целовала... Запах такой нежный, сладкий, родной... Вся жизнь перед глазами промоталась, как пленка в кино... А он лежит передо мною — кожа да кости, весь какой-то пожелтевший, окаменевший... Одной ногой на этом свете, другой — уже на том.

Смотрю на него, вглядываюсь, пытаюсь представить, что он сейчас видит. Снится ли ему что-то? Слышит ли он меня? Или он сейчас слышит совсем другие голоса и видит совсем другие, нездешние лица...

Для меня время перестало существовать. Я не слышала, как тикают часы. Только капельница. Днем и ночью: кап-кап, кап-кап... Мое время...

Сорок дней он был в коме. Врачи уже перестали надеяться. Меня стали потихоньку готовить: если он и выживет, то останется инвалидом... Чего ждать? Он мог перестать говорить. Мог перестать видеть. Мог... Об этом я даже думать боялась... Навсегда оставаться по разуму девятилетним ребенком.

Утро... Начало октября: в Москве так холодно уже было. Дождь, пронизывающий ветер. Ни одного листочка не осталось на дереве! Что за город такой холодный, как в нем люди живут? Я из церкви возвращалась, продрогшая до костей. Пришла, переоделась, захожу в палату. Во мне уже надежда тлеть переставала. Вместо надежды пришла обреченность... Грусть... Тоска... Встала возле окна, смотрю на улицу... Ветер воет, перед стеклом черная ветка покачивается... Взд-вперед, взад-вперед... Одиночество... Думаю: вот так и ты теперь будешь одна от ветра гнуться...

Сажусь рядышком. Беру его руку в свою, дышу на нее: все согреть пытаюсь.

— Уже осень пришла. На улице так холодно, ветер воет, дождь идет... Дома тебя папка ждет, брат... Звонили вчера, спрашивали, как ты... Я говорю: скоро поправится, скоро все закончится, и мы вернемся домой...

Говорю, а слезы капают на белую простыню. Кап-кап, кап-кап... И капельница: кап-кап... Мои часы...

Вдруг смотрю: веки у него задрожали! Подрагивают, глазные яблоки — туда-сюда... За руку его хватаю: «Ты слышишь меня?! Слышишь? Если да, мигни мне!»

Раз, — и тут же все прекратилось. Он опять замер. Я рыдаю, уже не могу себя в руки взять, все, прорвало мою плотину. Надежда, как луч солнца, блеснула и погасла.

Если бы я могла описать то, что в душе случилось тогда! Дали и отняли надежду. Так жестоко! Плачу, причитаю, и вдруг — раз! — он моргает! Глаза закрыты, он все-таки не смог их открыть. Но и так видно: веко дрогнуло, глаза едва распахнулись, и ресницы упали вниз.

Сорок дней минуло с третьего сентября. В Беслане отмечали сороковины, там выросло целое кладбище детей. А мой в этот день пришел в себя. Вернулся! Самый счастливый день моей жизни!

Когда он открыл глаза, он меня почти не видел. Говорил потом:

— Видел тебя, словно за стеклом, по которому дождь стекает.

Он терял зрение. На пятый день он попытался заговорить. Рот открывает, а слов нет. Только воздух ловит. Язык его не слушался, губы не слушались. Первое, что он произнес: «ба». На второй день уже чуть уверенней: «ба... — пауза, — ...ам». Я не могла понять, чего он хочет? Что за «ба»? А потом по телевизору показывают рекламу какого-то печенья... крупным планом: зерна, молоко, банан... у него маленький телевизор на тумбочке недалеко от кровати стоял... И вот показывают это печенье, и он вдруг, как младенец, замычал — взглядом на экран и опять шепотом: «ба... ба... ам». Смотрю на экран: а там как раз спелый желтый банан. Поворачиваюсь к нему: а взгляд такой умоляющий! Так вот оно что! Купила ему связку бананов: почищу, кусочек мякоти в рот... Он жмурился от удовольствия... Это его первая еда была... До этого только капельницы, капельницы...

Сказать ничего не мог. Попросить. Только слоги или отдельные звуки. Логопед с ним начал заниматься. Он заново всему учился: говорить, держать ложку... Но лежал... Все время лежал.

В конце октября ему сделали еще одну операцию — уже на глазах. Операция, наркоз, повязки на глазах... Через все мы прошли... Все пережили.

Помню, как он в первый раз резко сел, и тут же его вырвало. Судно ему купила, самое лучшее, дорогое: мягкое такое, импортное. Вставать ему пока запретили, в туалет — только в судно. Называл его: «моя лодка»...

Деньги мои уже закончились, родственники что-то пришлют, а раз — и нет уже ничего. Цены в Москве безумные, а купить надо все самое хорошее. Курочку, чтобы бульон сварить. Яблочки. Помидорчики. В школе трое суток голодал, а потом еще полтора месяца в коме... Я все самое лучшее старалась ему купить.

Помню, завтраком меня вызывает.

— Про вас в газете сегодня написали, что вы из Беслана и сына поднимаете... Люди хотят помочь, не отказывайтесь от помощи.

Выхожу в коридор: стоит огромный бритоголовый парень, в таком дорогущем костюме. Я к нему подхожу, он берет меня за руку: «Простите, всех нас простите, но хоть это... вам ведь тяжело сейчас... больницы, деньги... я все это знаю». И сует мне в руки пухлый конверт. По-прощался быстро, словно убежал: расплакался, неловко ему стало. Захожу в палату, открываю конверт: пять тысяч долларов! Я чуть в обморок не упала. Сроду никогда таких денег в руках не держала. Кинулась обратно, а его уже и след простила.

Вот так и было. Приходили незнакомые люди и приносили, кто что мог. Я никогда не могла подумать, что люди такие добрые! Однажды старушка пришла: принесла кулечек груш. Плачет, просит прощения... А в чем они виноваты? За что просили прощения? До сих пор не могу понять.

Мы выстояли тогда только благодаря вот этим чужим людям. Я даже имен их не знаю, так стыдно! Но только благодаря им он кушал яблочки, помидорчики, огурчики. У него было самое лучшее судно во всем отделении! Мягкое, пластичное, — все, как у людей, мы ни в чем не нуждались.

## Юлия Юзик

Муж дома с сыном впроголодь жили, потому что все деньги нам посыпали в Москву. А что эти две тысячи в Москве? Копейки... Без этих чужих людей мы бы голодали здесь, — правду вам говорю.

Он поправился, стал сил набираться. А в последних числах октября встал на ноги и сделал свои первые шаги! Заново пошел! Все заново, с белого листа. Ножки слабые были, подкашивались. Я его держу за руку: раз — шагок. Устал, отдыхает. Опять сначала: раз — шагок, два — отдыхает.

Я была так счастлива! Видеть его первые шаги, слышать в первый раз слово «мама»! Я так не радовалась, когда он в год пошел и говорить стал. Тогда это было естественно, все дети говорили первые слова и делали первые шаги. А то, что он заново пошел, — это было чудом!

Чудо бывает таким простым... Ходила с ним по палате, под руки держала: шаг, второй, третий... Слова по слогам повторяли: ма-ма, па-па... Счастье, оно в этих словах, в этих шагах...

Зимой я вдруг стала терять память. Целые куски воспоминаний стали куда-то пропадать. Сижу, пытаюсь вспомнить вчерашний день и не могу. Не могу! Врач сказал, что это от перенапряжения.

Мы провели в Москве четыре месяца. Долгие месяцы. И отчаяние, и страх, все осталось позади. Он ходит. Говорит. Видит. О чем я могу еще мечтать? И самое страшное в жизни уже увидела: белая простыня, и его пальчики, торчащие из-под нее... Катетер до сих пор перед глазами стоит. И капельницы снятся: кап-кап... кап-кап... Вдруг он никогда не откроет глаза? И я просыпаюсь в холодном поту».

## песня

«Боевик, который держал ногу на педали (замыкающей всю цепочку бомб в спортзале — Авт.), с первого дня проникся ко мне какой-то симпатией. Он сказал, что я очень похожа на его жену. Так получилось, что мы стали общаться, немного разговаривать друг с другом. И вот второго вечером, вернувшись в зал после небольшой отлучки, он стал каким-то мрачным, потемневшим. Я сидела рядом, вдруг слышу: он что-то тихо-тихо и печально поет. Я прислушиваюсь, а слов разобрать не могу.

— О чём ты поешь?

А он опять еле слышно тянет эту заунывную мелодию. Мне показалось, что это какая-то арабская песня, такая тоскливая, такая печальная!

— Что это за песня? — опять спрашиваю я.

Он поворачивается ко мне, и я вижу, что у него в глазах блестят слезы. Он плакал, а не пел.

— Что случилось?

— Все, конец. Мне дали полтора дня и сказали, чтобы я делал все, что хочу. Нам осталось полтора дня.

Опустил голову и вновь затянул эту песню, словно молитву.

— России не нужны заложники, переговоров не будет. Завтра конец».

*Роза, заложница*

## праздник

«Я вспоминаю их последний день рождения... Август... Я работала, у меня напряженный график был, уставала очень... Говорю им: «Ребята, давайте в этом году без гостей, без праздничного стола?» Договорились, что подарками одними обойдемся. Вечером прихожу домой: они стоят у двери, жалобно смотрят. «Бабу, ну, пожалуйста, устрой нам праздник!»

— Ну мы же договорились, Сосик, Аслан? Вы же уже взрослые, ну давайте в следующем году уже отметим!

Юлия Юзик

— Нет, бабу, давай в этом! Последний раз, а? Ну сделай нам праздник, пожалуйста! Чтобы пирог со свечами был!

Глазищи такие умоляющие. Ну, как тут отказать...

Поставила я сумку, взяла деньги, и пошли мы в магазин. Купили торт, газировку, свечки, я дома уже салатики на скорую руку приготовила, фрукты порезала...

Сели, — они такие счастливые, глаза горят! Я смотрю на них и удивляюсь: такие взрослые мальчишки, уже и борьбой занимаются, и на девчонок поглядывают, — а ведь сущие дети... Чего тогда им так эти свечи сдались, и пирог, и праздник этот... Какие они счастливые были...

Словно чувствовали, что это — их последний день рождения, их последние свечки на именинном пироге...»

*Светлана, бабушка*

### подкидыш

«Наша жизнь разбита, растоптана... Я часто думаю, что Бог поставил нас на колени, чтобы испытать нас, проверить, сможем ли мы подняться... «Мы» — это не то слово... «Нас» уже нет... «Мы» — сгорело, превратилось в пепел...

Часто думаю о прошлом — когда мы еще были вместе, когда в нашем доме еще светило солнце и я по утрам будила своих детей... Время... (с тоской)... оно бежит, как песок сквозь пальцы, и невозможно зажать его в своей руке навсегда...

Нас было четверо: мы с мужем, и Карина с Хейтагом, наши солнышки, наши любимые детки... Они были погодками: ей 14, ему 13. Она вся в меня: взрывной характер, энергичная, черноглазая... Он — папа: чуткий, выдержаный, с большими печальными серыми глазами...

Когда их не стало, мы с мужем пережили самый серьезный кризис в наших отношениях. Беслан стал проверкой наших чувств, нашей семьи: потеряв детей, мы ос-

тались один на один в этом горе, безмолвии... Мы потеряли смысл нашей жизни; впервые за столько лет оказались в пустоте, где не слышен смех наших детей...

Я не знаю, выдержим ли мы это испытание, сумеем ли сохранить пусть жалкие, но остатки нашей погибшей семьи...

Для моего мужа дети были всем в этой жизни, понимаете? Он боготворил своих детей. Когда ему только исполнилось 1,5 годика, он потерял отца и мать; дядя его воспитывал. К нему неплохо относились в той семье, но он часто говорил мне спустя годы: «Семья — самое главное, что есть у человека в жизни. Я был лишен многоного, но у моих детей будет все! Я все для них сделаю!»

Мы строили большие планы... Откладывали деньги, чтобы их за границей учить. Теперь я понимаю, что нужно жить одним днем, быть счастливым именно сегодня... Завтра может не наступить никогда...

...Тот день... Первого сентября... Я сама повела их в школу... Уже почти на подходе, переходя железнную дорогу, Каринка вдруг поворачивается ко мне и так жалобно тянет:

— Мамочка, я так не хочу идти туда! Давай развернемся и вернемся домой, а? Еще целый год впереди, еще находимся туда!

Я так опешила.

— Как это не хочу?! Сегодня 1 сентября, первый учебный день, что за вольности такие, что значит «не хочу»? Есть слово «надо».

Она так смиленно вздохнула, и мы пошли...

Что я о себе думала тогда? Блюститель нравов, кладезь мудрости и опыта, — а на самом деле? Дети гораздо чище, они тоньше устроены, они еще могут считывать само ощущение опасности, которое только витает в воздухе... Их душа еще не покрыта таким слоем предрассудков, стереотипов, каким покрыты наши души... Но тогда

почему мы не слышим своих детей? Почему я не послушала своего ребенка?

«Ребенок не хочет идти в школу, значит, он ленив. Надо заставить его сделать это силой», — в той ситуации так мыслил бы почти каждый родитель, правда?

Вот мы и пошли дальше. И все трое зашли в зал. Трое...  
(Задумчиво.)

Когда случился первый взрыв, меня очень сильно контузило. Я ничего не помнила. Даже про то, что со мной были дети. Я вместе с боевиками под дулом автомата перешла в столовую, где продолжался бой. Террористы думали, что в нас не будут стрелять, — мол, заложники, живой щит... Куда там! Наши палили, как ненормальные. Много людей полегло в той столовой... Там ко мне начала память возвращаться: я вспомнила, кто я и с кем пришла!.. Какая истерика началась у меня! Я кричу: «У меня дети в спортзале остались!» — и бегом туда. Боевик дуло автомата на меня навел: «Не сметь в зал! Расстреляю!»

Мне все равно было: пусть стреляет. Как я без детей вернусь? Как я могу их оставить здесь, в этом ад? Я рванула в спортзал... Кругом стреляли, что-то взрывалось, крики, кровь... А потом... (Жалостливо смотрит на меня.) Потом я ничего не помню. Потом — только больница. Когда я пришла в себя, муж сидел напротив. Первые мои слова: «Где Хейтаг? Карина?»

— В больнице. Все хорошо. Они в тяжелом состоянии, но уже идут на улучшение...

Два дня я просила телефон, чтобы набрать их. Говорю мужу: «Если они не могут вставать, ты поднеси к ним трубку, — мне нужно просто услышать их голос. Просто голос!»

На третий день он заходит в мою палату... Садится рядом, берет мою руку в свою...

— Послушай... Мне нужно кое-что тебе сказать...

Вы когда-нибудь падали в пропасть? В самую глубокую пропасть, дна которой не видно, и ты летишь туда, слыша в ушах свист ветра и чувствуя, как душа опережает тело и разбивается первой? Мое тело разбилось о камни, оно изранено, но цело... А душа разбилась еще в том сентябре...

Как мы пережили это? Как после всего того, что случилось с нами, продолжаем ходить по земле?

Мы с мужем после похорон — сначала Карину похоронили, потом Хейтага, — не знали, о чем говорить друг с другом. Ну, вот была жизнь — целая жизнь! — и ее зачеркнули. Ничего не осталось.

Вот ходим мы с мужем, пьем чай, сидим в креслах — и молчим. Что мы можем сказать друг другу? Пожалеть? Утешить? Сказать, что все будет хорошо? Но хорошо уже никогда не будет...

У нас не осталось слов друг для друга...

Больше полугода прошло в таком трансе. Мы медленно выкарабкивались... Тяжело было начать говорить друг с другом...

А потом... Потом мы стали думать о ребенке — в нас еще столько теплоты, любви, которую некому стало отдавать; мы оба были переполнены любовью к нашим детям; мы едва не захлебнулись ею.

Для моего мужа дети были всем! Дети были смыслом его жизни. И я точно такая же: без детей я просто растение... Никчемное, бесцветное растение...

И вот мы решились. Консультировались с врачами: мне сказали, что забеременеть сама я не смогу (возраст уже за 40, ну, вы понимаете...) и нужно делать искусственное оплодотворение. Мы с мужем поехали в Москву. Все сделали — я после оплодотворения несколько дней не вставала с кровати. Шелохнувшись боялась. Хотела, чтобы клеточка укрепилась, окрепла...

Я так бережно ходила — словно внутри меня был крохотный хрустальный сосуд, который мог расплескаться или разбиться...

30 апреля утром — да-да, это было утро накануне пасхальной ночи, — у меня началось кровотечение. Муж вызвал «скорую», меня забрали в больницу, срочно УЗИ сделали. Врач грустно так посмотрел на меня:

— Мне очень, очень жаль, но вы его потеряли. Он не смог удержаться.

Муж забрал меня домой. В машине мы молчали. И дома молчали... Эта страшная тишина. Вечером пришла его сестра; мы на кухне сидели и слушали ее утешения в тот момент, когда в дверь постучали.

Постучали — громко так, резко. Муж пошел открывать. Открыл — и тишина. Родственница моя тоже выбежала посмотреть, в чем там дело. И тоже — тишина...

Я, верите или нет, кожей почувствовала, что там такое. Вышла из кухни в свою комнату и закрыла за собой дверь. Слыши: в прихожей замешательство, а потом суета какая-то... У меня сердце ухнуло.

Золовка забегает, смотрит на меня круглыми глазами.  
— Ребенок, да? — спрашиваю.  
— Мальчик, новорожденный мальчик... Там записка...  
— И что в ней?  
— «Дорогие Лена и Аслан! Мальчик — чистокровный осетин, абсолютно здоров. Будьте счастливы»...

Муж не заходит ко мне, возится в другой комнате с этим ребенком.

Так мне горько стало, так больно... Чужой ребенок... Как насмешка над нашим горем, как подачка, жалкая подачка... И похороны Карины с Хейтагом, и сегодняшний выкидыш — все встало перед моими глазами белой пеленой... Я легла на диван и разрыдалась... Вот так я плакала... Долго плакала...

А золовке сказала: «Чтобы к утру этого ребенка здесь не было! Пока он здесь, я из комнаты даже не выйду».

Понимаете, я не была готова принять на место своих детей кого бы то ни было. Я так остро переживала их смерть, и хотя скоро минует год со дня их смерти, я жила ими. Каждый день я вспоминаю, что мы делали ровно год назад: сегодня, например, мы с Кариной мыли окна, а под окном прошел мальчик, в которого она была влюблена, — и она, взвигнув, кинулась на пол. А вчера я жарила пирожки с яблочным вареньем. Я все помню, каждый миг, каждый их вздох... Сегодня пятое июля: значит, через неделю мы поедем на море.

Такая вот реконструкция прошлого, которое заменяет мне настоящее.

И когда в эти воспоминания ворвался этот младенец, я была в ярости: он вторгся в нашу с детьми жизнь, прервал нить воспоминаний, словно разбудил меня посредине прекрасного сна.

А потом... Это был ЧУЖОЙ ребенок; его зачали и родили незнакомые мне люди, — кто они? здоровы ли? чисты ли? Это не брезгливость даже, это... Я даже слова не могу подобрать... Почему я должна воспитывать в своем доме какого-то подкидыша?

Это же очень сложно, понимаете? Через многое в душе нужно переступить. Мы не были бездетной парой, которая, отчаявшись, решилась взять чужого ребенка. Мы с мужем абсолютно здоровы, мы можем родить своего малыша. А какие чудесные дети были у нас... Как мы их любили... (Плачет.)

Так почему все то, что было уготовано для них, должно достаться чужому? Моя гордыня не позволяла мне оставить его. Моя боль выталкивала его...

Рано утром муж его увез. Возвращается, а в глаза мне старается не смотреть. Я ему говорю: «Ты что, хотел его оставить?» А он тихо так отвечает: «Закроем эту тему. Не хочешь — не надо. И точка».

## Юлия Юзик

День и ночь я думала об этом мальчике... Как так могло случиться, что его принесли к нашим дверям именно в тот день, когда у меня случился выкидыш? Почему именно в пасхальную ночь, когда звонили колокола и славили Бога нашего? Эти люди, которые принесли его нам, они ничего не могли знать о том, что случилось со мной сегодня утром.

Где сейчас этот ребенок, что будет с ним? А со мной? Может, сам Господь, видя мои страдания, решил послать мне его в утешение? А я вышвырнула его на улицу, отреклась, не приняла этот дар...

Я не знала, что мне делать. Душа моя металась. Мне казалось, что если я возьму его на руки, то отрекусь от своих детей, предам их и всю нашу жизнь. Вот так легко, просто увидев чужого младенца... С другой стороны, я столько могла бы дать этому брошенному ребенку, которого принесли именно к моим дверям; и на записке были наши с мужем имена...

Я ходила к священнику в церковь. Рассказала свою историю и спросила, как же мне нужно поступить? Он сказал, что я правильно поступила, отдав его. «Пусть лучше его возьмут люди, которые смогут поделиться с ним своей любовью и теплом. Твое сердце изранено, в нем нет места для других детей, покуда ты оплакиваешь своих...»

Мне очень понравились его слова, и я сразу как-то успокоилась. А ночью ложусь спать и... опять слышу плач этого ребенка. Думаю: где он, Боже, сыт ли, согрет? И всю ночь так проворачалась — в мыслях о нем.

Утром встаю и понимаю, что он УЖЕ в моем сердце, что он своими маленькими пальчиками крепко вцепился в него и не отпускает. Мое сердце изрезано ножом, но, даже истекая кровью, оно способно любить; любить чужого брошенного ребенка.

Если бы я не прошла через все эти страдания, оплакивая своих деток, разве способна была бы на сострада-

ние к чужому? Никогда. Только пережив такую боль, пройдя через все круги ада, я стала той, что сейчас.

Я прямо с утра оделась и, мужу ни слова не сказав, поехала в больницу. Захожу к главврачу и говорю, что приехала забрать своего ребенка. Тот руками разводит: простите, говорит, но уже прошло 12 дней, вы даже не интересовались его судьбой... Уже поздно... Другая семья уже начала процедуру оформления усыновления...

— Нет, — говорю, — это невозможно! Это мой ребенок, его принесли в мой дом, вы не можете его так просто у меня забрать!

Я поехала к той женщине, которая забирала этого мальчика у меня. Рассказала ей про Беслан, про школу, про своих убитых детей, про то, как этого малыша принесли мне под дверь в пасхальную ночь...

— Но вы же сами отказались от него!

— Мне тяжело далось это решение, я потеряла своих детей... Умоляю вас, не отбирайте его у меня!

И эта женщина, обычная бездетная женщина, которая просто хотела усыновить ребенка и ходила долгое время смотреть отказников, выбрала именно моего мальчика из-за хорошенъского личика, — так жестоко она мне ответила: «Это ваше горе, могу вам лишь посочувствовать, но ребенка просто так я не отдам».

После похорон я вообще практически не выходила из дома, долгие месяцы не могла никого видеть, а что тут со мной случилось! Десять дней с утра до вечера — областная прокуратура, суд, Минздрав, все пороги обиля, все инстанции обошли... Отказать мне чиновники все-таки не посмели. Даже позволили все то время, пока готовятся документы на усыновление, пожить вместе с ним в одной палате.

Муж мой был потрясен... Наверное, такой он меня еще не знал...

Собрала дома сумку, приезжаю. Иду по коридору... Ощущения! Не передать вам... Сердце из груди выпрыгивает...

вает!.. Я же его не видела ни разу, не видела своего будущего ребенка!

Открываю дверь, ставлю сумку возле кровати и подхожу к нему...

— Ну, здравствуй! Свиделись, наконец...

А он и вправду такой симпатичный, улыбчивый, беззащитный... Я его взяла на руки, положила на кровать и рядом легла. Плачу, улыбаюсь, как сумасшедшая.

— Теперь мы всегда с тобой рядом будем.

И с того дня мы не разлучались. Мы с мужем как будто заново учились младенца нянчить. Купили ему молочную смесь, бутылочки, пеленки... Встаём по ночам кормить — все, как было почти пятнадцать лет назад.

Смотрю на своего мужа и... Знаете, все это и больно, и одновременно щемяще-трогательно: как он носит его на руках, поет ему колыбельную. Воскрешает в душе что-то такое, что казалось безвозвратно утерянным... Мы просим прощения у своих детей, просим их понять нас.

Мы вырастим этого ребенка в память о них, мы дадим ему все, что будет в наших силах.

Но... мне кажется, что любить так, как мы любили их, мы не сможем никого и никогда. К этому мальшам я испытываю привязанность, нежность... Но любовь?.. Не знаю... Пока слишком больно, слишком больно...

Я даже не знаю, нужно ли, чтобы вы писали о нас. Я не знаю, останемся ли мы в Беслане: если он будет расти здесь, нужно быть готовыми к тому, что ему обязательно расскажут о том, как он появился на свет и как оказался в этом доме... Вынесет ли он это? Не разобьется ли его сердце от этого? Мы хотим, чтобы у нас была семья, мы хотим хоть кого-то сделать счастливым... Это ведь хорошее желание, правда?

Наверное, мы оставим историю его рождениятайной, а потом встретимся с вами через много лет и расскажем, пришло ли солнце в наш дом вновь...

У меня сейчас то же чувство: как будто я несу в руках хрупкий и тонкий сосуд: не расплескать бы, не разбить, сберечь эту хрупкость...»

Лена и Аслан, родители.  
На могиле родных детей остали  
одну-единственную запись: «Простите нас».

### посттравматический синдром

«Я свой осколок храню в жестяной банке из-под кофе. Он мне дорог, как первый молочный зуб, который у меня перед первым классом выпал. Вот он, смотрите... Болтик без шляпки. Большой, да? Красивый. Да, вроде бы медъ... Похоже по цвету, по крайней мере. Эта штука у меня в шее была. Еще полмиллиметра — и я бы лежал со всеми остальными на кладбище. Так что мой болт оказался недурным парнем... Знал, где нужно остановиться. И я его за это берегу. Полмиллиметра, — представьте! — и я покойник. Вот он, мой трофей. Врач на память подарил. А пацаны поменьше вообще помешались на своих осколках, друг перед другом хващают, у кого он больше. Ужас, как в душевой прямо! Я же говорю, все пацаны походили с ума: разговоров только про осколки, оружие и спецназ. Это называется, как его... Мам, скажи, как психолог сказал? А, посттравматический синдром это, вот».

Заурбек, 13 лет

### пустырник

«Валерианка мне уже не помогала. Я совершенно перестала ее чувствовать. Врач выписал мне настойку пустырника. Вроде как успокоительное.

Мне очень тяжело без Эмки... Вроде бы она была младшей, но у нас получилось так, что все на нее равнялись, все за нее тянулись. Она как солнце, всех нас согревала. Без нее все стало темно и тихо. Мы сидим с мамой в этом пустом, холодном доме. Не слышно ее смеха, ее голоса.

Когда мы начинаем смотреть ее фотографии, — такая неуклюжая попытка ее оживить, вернуться в те дни, когда все мы были счастливы, — становится так плохо, мы начинаем рыдать, и сердце — оно как будто сходит с ума.

Я пью пустырник, так сказал врач. Это такая горькая трава, она успокаивает... Три раза в день перед едой. Каждый день пустырник, чтобы не сойти с ума от всего этого...»

*Тома, сестра*



**родимое пятно**

«Тем утром я пошла в школу с ними с двумя. Шамиль в первый класс шел, а Амину попросту оставить не с кем было. Трехмесячный ребенок — ну куда ее деть?.. Утро как утро: я бегала, готовила завтрак с ребенком на руках. Уже опаздывали; я такси вызвала, чтобы успеть.

Успели, на свою голову... Только мы пришли, как буквально через несколько минут раздались первые выстрелы... Мужики эти появились с автоматами... Но я, при всей той суматохе, панике, настоящего страха не почувствовала. Меня не покидало ощущение, что все понарошку: что поддержат нас и отпустят. Хотя, конечно, с грудничком очень тяжело было... Она кричала, хотела есть, а молоко у меня быстро пропало... Но, знаете, когда нас на второй день стали выпускать с маленькими детьми на руках, я почему-то подумала, что лед тронулся. Что сначала отпустят самых маленьких, а потом уже и остальных. Я даже как-то легко оставила Шамиля одного. Буднично, что ли... Как будто выбежала на улицу за хлебом. Говорю: «Ты посиди, а я Амину отдам и вернусь». Он не испугался, не заплакал — и виду не подал.

Вот так это все и случилось. Я вышла с малышкой на руках, а обратно уже не вернулась. Куда там обратно!.. (*Обреченно машет рукой*) Дороги назад не было...

Мы несколько дней искали его — по больницам, по моргам. Я не могла... Поймите правильно... Не могла видеть всего того, на что пришлось смотреть моему мужу... Детские тела, сожженные, без рук, без ног, без лица и без пола...

Муж его и нашел. По ногтям узнал: он его купал, — говорил, что мужчину нужно воспитывать мужчиной с пеленок, что сына должен мыть отец... Он пришел из морга и плачет: никого похожего нет, из мальчиков только один ростом с нашего... И он его по ногтям на ногах узнал... Он знал его тело, как свое, поэтому мы и забрали того, кого он опознал.

Я сама не своя была в те дни. И когда его хоронили, и после... Кричала, все ломала, кидала посуду... Когда мне рассказывают, что я в те дни вытворяла, поверить не могу: я-то по жизни спокойная, покладистая, тихая... И самое страшное: я отказалась брать дочку на руки. Видеть ее не могла. Ненавидела. Из-за нее я вышла из школы, оставив его там на погибель!

Вы поймите, — моему мальчику было семь лет, это целая жизнь. Мы с мужем как поженились, так он через год с небольшим и родился. Первый ребенок — и сын! Представляете? Мы с мужем мусульмане, для мусульманина рождение сына — праздник. Он так радовался ему! От кроватки не отходил: и целует, и приговаривает что-то, и песенки поет. Так смешно было на это смотреть, — муж мой суровый такой, молчаливый — и ревнится, как мальчишка. И кормил, и купал сам. Говорил: наследника ты мне родила, теперь можешь девчонок рожать, сколько захочешь... Мы всегда мечтали о большой семье...

И вот наш мальчик уже вырос, мы купили ему портфель, костюм, букет цветов... Он пошел в первый класс...

Когда он погиб, я не находила себе места. Я все время, все время плакала. А тут еще и девочка плачет... Хочет моего внимания, моей любви... Я сказала мужу: я к ней не могу подходить! Из-за того, что она так орала, я и ушла тогда... Людей нервировал ее крик... Боевики психовали... А что я могу сделать, если она кричала день и ночь беспрестанно? Из-за нее я оставила в школе своего сына... (Нежно.) Своего мальчика...

Как-то так получилось, понимаете... Я не смогла простить ей того, что из-за нее я потеряла сына. Видеть ее не могла. Мама приехала из Дагестана и забрала ее к себе. Временно... Пока все не успокоится... Я заберу ее, конечно!

Потом, когда смогу простить...

Ну скажите, можно ли любить одинаково трехмесячного и семилетнего ребенка? К ней я так не привыкла, как к нему... Трехмесячный — он же словно пришелец, который только вошел в дом, к нему еще надо привыкнуть, полюбить... А семь лет — это маленькая жизнь... Столько всего случилось с нами за эти годы... Я же говорю — целая жизнь...

Что было с нами потом... В конце сентября, кажется... Да, точно, это был конец сентября... Меня стало тошнить... Купила тест в аптеке: результат отрицательный. Но я уже почувствовала нутром, что во мне что-то есть...

Пошла ко врачу: 10—11 недель... Вначале были шок... Какая-то растерянность... Я только похоронила ребенка, какие роды, какая беременность?

Мне казалось, что девять месяцев — это месяцы счастья, гармонии, какого-то солнечного состояния, а тут... Горе, слезы, черный платок... Таблетки... Несколько самых тяжелых дней мне кололи психотропные, потому что обычные успокоительные на меня уже не действовали... У меня было такое состояние, словно меня оглушили чем-то тяжелым...

Делать аборт? Или рожать?

Кто-то из родственников сказал: это — Божий ребенок, сам Бог послал вам его в утешение... На нас это подействовало: Божий ребенок... (Задумчиво.) Мы решили сохранить эту беременность. Ведь после похорон жизнь стала просто невыносимой...

Муж стал пить... Приходит с работы, наливает водки, потом еще водки... А потом начинается... (Долгая пауза.)

Когда он выпивает, он начинает кричать и звать его по имени... Громко кричать... Я не могу это слышать... Просто кровь в жилах стынет... Бегает по дому, ищет его, зовет...

Почему он не жалеет меня?! Он рвет мое сердце на части! Это такой эгоизм... Такая жестокость.

Я его избегать стала... Как чужие друг другу стали... Знаете, в горе человек эгоистом становится: уходит в свое страдание, барахтается... А рядом кто-то тоже страдает, он ищет твоего сочувствия, тепла... Но где взять из себя это тепло, когда внутри все выжжено, словно пустыня?

У меня было ощущение, что наша семья разваливается. Мы не говорили о разводе вслух, но мысли о нем приходили все чаще и чаще... Каждый из нас стал сам по себе... Тонул каждый в своем горе... Это ведь только на первый взгляд кажется, что люди, потерявшие своего любимого ребенка, должны стать сплоченнее, терпимее друг к другу.

Это все неправда! Дети — цемент, на котором держится семья... даже нет, не так... Дети — это фундамент... Да, это точнее. Если из-под дома выбить фундамент, то дом рухнет, так? Вот я и решила родить этого ребенка, чтобы спасти наш брак, сохранить семью.

Сколько я знаю семей, которые оказались на грани развода после Беслана... Беслан... (*Задумчиво.*) Город, в котором мы жили и продолжаем жить, стал каким-то знаком, символом... У меня такое ощущение, что мы сами стали какими-то символами, метафорой... То, что произошло с нами и нашими жизнями, — разве это не символ? Не знак? Не предзнаменование? Я силюсь понять, что оно значит, какой тайный смысл несет в себе, но пока не нахожу ответа... Может быть, когда-нибудь мы сумеем разгадать эту тайну, расшифровать значение...

Ребенок, которого я носила в себе, — стал продолжением Беслана... Но я ничего не знала об этом — все девять месяцев... Было только какое-то предчувствие, какое-то слепое предчувствие. Особенно остро оно дало о себе знать в декабре, после вторых похорон...

К тому времени мы чуточку успокоились, а потом — вдруг — телефонный звонок: сдайте кровь на ДНК-экспертизу... Зачем нам кровь сдавать? Мы уже своего похоронили! Нет, говорят, нужна ваша кровь... Ну, сдали мы... И тут звонок: вы похоронили не своего ребенка, а чужого. Ваш в Ростове лежит. Представляете?

Могилу раскопали, мальчика оттуда достали, и новый гроб в землю опустили... Опять похороны. Вторые за несколько месяцев! Не слишком ли много для одного ребенка?!

И все заново... Слезы, кладбище, закрытый гроб, — а что в нем, и увидеть уже нельзя... Аборт... (*Задумчиво.*) Я думала сделать аборт тогда, но куда уже — больше четырех месяцев. Уже сердечко вовсю билось, какой аборт...

Но тогда... Да, тогда меня и тряхнула эта мысль: нежели все это пройдет бесследно для этого ребенка? К врачам ходила. Все меня успокаивали: все нормально будет, разве что нервный немного будет... Ну что ж, дети часто нервными бывают.

Проходила я эту беременность спокойно. Сидела дома, пыталась думать о том, каким родится этот ребенок; загадывала, чтобы он на сына похож был...

Роды нормально прошли, без осложнений... «Девочка», — показали мне ее, и все нормально вроде бы было... Я ничего не заметила тогда. Ну как, она же в смазке была, — что там увидишь. А кормить мне ее не принесли...

И вечером не дали, и утром следующего дня... Я уже волноваться стала: где моя девочка? Почему мне ее не приносят?

Принесли, наконец. Беру на руки и... Мне плохо так стало!

— Что такое? Что у нее на лице? — кричу.

А медсестра успокаивать меня стала: ничего, говорит, это часто у ребят такое бывает, может, сосуды полопались во время ваших потуг.

Я рыдаю, а она успокаивает меня: у моей племянницы такое же было... и что-то там такое... тра-та-та... тра-та-та... и слов не помню, которые она говорила... «И все пройдет, пройдет», — слышу.

Я все ближе и ближе к ее лицу наклоняюсь... А оно наполовину темно-малиновое... Как будто кто-то кистью ровно половину покрасил краской... Какой ужас... Девочка, и с таким пятном! Как же ей жить?

Ее уже унесли, а я мечусь по комнате, руки дрожат, слезы катятся по лицу... За что? Почему? Как она будет жить? Такое уродство!..

Она же девочка... (*С тоской.*) Как от нее будут шарахаться... Смотреть с жалостью и презрительностью... Что может быть страшнее для матери, чем видеть страдания своего ребенка? Видеть этот ужас и понимать, что ты ничего не в силах изменить?!

Ночью я пробралась в детскую комнату, детки в ряд лежат, утянутые пеленками, — как коконы, тугие коконы, которые превратятся потом в прекрасных бабочек... Иду вдоль кроваток, и сердце лопается от боли, — мою девочку издалека видно... Закрываю рот рукой, чтобы не разбудить их своими рыданиями, и отхожу... И опять возвращаюсь: пятно не исчезает, оно как будто становится ярче... И снова отхожу, и снова возвращаюсь: смотрю на него, как заколдованная, словно оно какой-то мистический знак... Отметина...

Врачи мне потом подтвердили: да, это родимое пятно. Его ничем не вывести, не убрать. Это на всю жизнь. В дальнейшем цвет может усиливаться или потемнеть. Родимое пятно начинается под подбородком и поднимается до корней волос, захватывая даже левое ухо.

И последнее, чем меня врач добил: такие пятна заживаются с 4-й по 6-ую неделю беременности.

Это первая половина сентября...

Тогда, первого сентября, я и не знала о том, что уже была беременной.

Но что — стресс, пережитый в школе? Или увиденные трупы детей в морге? Или похороны моего мальчика? Или лекарства, которые мне кололи в те дни? Что именно отпечаталось на ее крохотном лице? Я все время ищу ответ...

Когда я еще носила ее в животе, я думала: пусть этот ребенок родится в память о моем сыне. Мы расскажем ей, как она появилась на свет, как пережила вместе с нами тот черный сентябрь, как пришла на свет взамен своего брата... Я вот так думала, да. И может, Бог разгневался на меня за эти мысли: «Хочешь сделать этого неродившегося ребенка памятником старшему — и любимому? Получай!»

Вот он, памятник...

*(За все время она ни разу не называет дочь по имени.)*

Наша боль никогда не излечится, потому что наш ребенок будет страдать... Да что там говорить о будущем, когда она уже сейчас становится изгоем... Я не выхожу с ней на улицу — гуляю только во дворе; счастье, что у нас свой дом. А вчера думаю: дай-ка на улицу хоть выйду, ну что я прячу ее, как какого-то уродца. От дома далеко не отхожу, коляску катаю, она, как всегда, плачет... И вдруг девчонки подбегают соседские, — лет по шесть им. Спрашивают: мальчик или девочка у вас?

— Девочка.

— Как зовут?

— Лейла.

— Какое красивое имя! А можно посмотреть на нее? Мнусь.

— Ну, пожалуйста!

Не хочу поднимать занавеску. Потом думаю: и что? Сколько я буду так прятать ее?

— Ну, посмотрите.

Заглядывают в коляску.

— Ой! А что это у нее на лице?

— Такое иногда бывает у маленьких деток, — пытаюсь говорить, словно и в самом деле ничего страшного не произошло.

— А... — разочарованно тянут они.

Отбегают, а я слышу их разговор: «Только имя у нее и красивое, а сама — урод с красным лицом». Еще несколько минут пытаюсь держаться, а потом залетаю во двор и начинаю рыдать. Муж подлетает: «Что стряслось?» А я даже повторить это не могу, так больно, так больно, словно шкуру заживо сняли! Такая истерика со мной случилась!

И она со мной плачет. Я ж ее грудью кормлю, а через молоко все настроение передается. Какой-то замкнутый круг получается... И как вырваться из него? Она хотя бы не понимает всего того, что с ней случилось. Но еще несколько лет — и ей самой придется слышать такие слова... Видеть, какую гримасу отвращения она вызывает у людей... Видеть свое отражение в зеркале...

И что сказать ей? Что она — ребенок-памятник бесланскому теракту? Что на 6-й неделе ее только зачинающейся жизни ей суждено было увидеть моими глазами ужасы, вроде сгоревших детей в морге?

Но в чем ее вина? Она ведь спросит меня: «Мама, а за что меня так наказал Господь?» И что мне сказать ей?

И самый страшный вопрос, который мне предстоит услышать: «Вылечат ли меня?» Я не знаю, не знаю...

Сосудистый хирург, к которому мы обращались для консультации, сказал, что это не лечится и не убирается. Может быть — он так и сказал: «может быть», — с помощью пластической операции удастся убрать это. Нужно подождать до тех пор, когда ей исполнится три — четыре года, чтобы принять решение, допустимо ли операцион-

ное вмешательство. И сразу предупредил: это очень дорогая операция, и делать ее лучше за границей. Где мы найдем такие деньги? Я вот летала в Москву на консультацию: купили билеты, а потом еле концы с концами сводили целый месяц.

Дикое ощущение: абсолютной беспомощности, безысходности...

Об одном Бога прошу: пожалуйста, позволь и моей куколке превратиться в бабочку!»

*Салимат Сулейманова, мать*

## С

«скорая помощь»

«Когда в школе раздались первые взрывы, мы кинулись со двора прямо в чем были, бегом к школе... В заложниках была наша тетя с двумя племянниками: счтай, целая семья. Вот мы и перепугались до полусмерти, услышав взрывы.

И вот, значит, когда мы пулей вылетели со двора, то сразу перебежали на соседнюю улицу и бегом пропустили... Вдруг видим: на всех парах несется старая машина «скорой помощи». Старая такая машина, серо-зеленая, «бобик» называется, — такие уже почти и не ездят. Вдруг на перекрестке — метрах в пятидесяти от нас — она резко останавливается. Из кабины высакивает водитель, подлетает к задним дверцам машины... Тут мы видим: дверцы приоткрылись, пока машина неслась, и оттуда что-то торчит. Водитель побегает, ногой так — оп! — резко вталкивает это «что-то» в фургон и закрывает двери. Мы аж приостановились — опешили как-то... Что он так ногой пихнул? Раненого? Как же это понимать?

Водитель сел в кабину и не едет, словно чего-то ждет. Вдруг видим: с другой стороны — не оттуда, откуда машина эта вылетела, — бежит парень. Одет он был в майку и спортивные штаны. Прыг в кабину, сел рядом с водителем, и тут машина аж взревела, — так резко дали они по газам.

Тогда мы как-то ничего не поняли... Мы были словно парализованы... Это сейчас понятно, что это была за странная «скорая помощь», собиравшая сбежавших из школы боевиков. Потому что, видит Бог, другого объяснения увиденному мы дать не можем. А тогда мы просто остано-

вились и, как идиоты, смотрели... Даже не успели подбежать поближе, чтобы увидеть, кого этот странный водитель залихивал ногой в машину. Вдруг это был чей-то ребенок? Кошмар начинается, когда об этом думаем... Мы можем показать, откуда ехала эта «скорая», где остановилась, откуда выбежал парень в спортивных штанах... Только что это даст? Номеров мы не видели, и куда они поехали — тоже... Не повезло тому, кого в тот день поместили не в ту «скорую», — это да...»

сны

«Накануне первого сентября мне снилось столько предупреждающих снов, предвещавших что-то страшное... Но тогда я так и не смогла понять, откуда исходит опасность... Я просто почувствовала ее. Ждала. Но откуда? Откуда ждать ее, — я не знала...

И вот сон в ночь на 1 сентября... Он — один из бесконечной череды кошмаров, снившихся мне все лето... Мы сидим на берегу моря и снимаем все на видеокамеру: я, мои дети, муж — все вместе... Солнечно, лазурное небо, волны барабашком плещутся у ног... И вдруг — я поднимаю глаза и вижу... летающие тарелки... Они несутся по небу, от горизонта, — и все ближе, ближе к нам. Черные летающие тарелки, от которых исходит яркий-яркий — словно огонь — свет. Вдруг все звуки замирают, исчезает свет, только вой этих черных тарелок... И одновременно с моря поднимается огромная волна высотой в несколько этажей, я в ужасе пытаюсь закрыть руками детей, волна накрывает нас... и я просыпаюсь.

Старшей, Марианне, в эту же ночь приснилась моя умершая мама, которую она никогда не видела, — та умерла до ее рождения.

Предчувствие чего-то страшного не рассеялось с пробуждением. Но... Как-то глупо было идти на поводу у своих эмоций, да? Из-за сна отменять дела, переносить встречу, —казалось, что это по-детски как-то... Вот мы и пошли на эту линейку. Я с сыном выжила, а Марианна погибла у меня на руках. Я не смогла защитить ее, уверечь.

125

Юлия Юзик

Я много плачу после ее смерти. Каждый день. Мне ничего не осталось, только плакать. И вот спустя несколько месяцев после теракта, в начале зимы, мне звонит сестра.

— Я сегодня видела Марианну во сне. Захожу в ванную, а она лежит в ванне, полной воды. Воды так много, что она выплескивается из краев, залила пол... Она так смотрит на меня грустно и говорит: «Пожалуйста, передай маме, что моя ванна такая полная... Полотенца уже не вытирают меня...»

Я поняла, что мои слезы затопили ее там... Но что я могу поделать с собой? Слезы текут сами по себе. Как только я закрываю за собой дверь и остаюсь наедине с тишиной в доме, в котором мы столько лет прожили вдвоем с ней... Что мне еще остается? Плакать и носить ей на кладбище живые цветы, вот и все...»

Лена, мать

### сосна

«Гробы мы делали из сосны... Ну, так принято, что ли... Во-первых, потому что сосна — легкое дерево. Два человека легко сосновый гроб поднимут, а на дубовый, например, как минимум четыре человека понадобятся. Попробуйте вдвоем поднять дубовый гроб! Или, например, из чинары, а? Или из самшита... Хорошее дерево, но тяжелое. Человек шесть уже понадобится!

Потом, сосна дешевле. У нас в России много сосны растет, на всех хватит».

Султан, директор ритуального бюро

### слезы

«Я до сих пор не могу забыть одного террориста. Он сидел в глубине зала, недалеко от запасного выхода. У него было такое красивое лицо, волнистые черные волосы... Может, потому, что он был красивым таким, я внимание на него обратила. И вот, значит, минут за двадцать

до штурма, — да, примерно тогда это и было, — я увидела, что он... плачет! Сидит, носом шмыгает, глаза влажные. Сгорбился. Как ребенок в истерике... Я сначала глазам своим не поверила, но он и вправду плакал!

У него слеза покатилась, а он быстро вытер ее рукой, чтобы не было видно. Ему стыдно было, что он плачет, наверное. Он ведь такой большой, такой сильный, — террорист! — а плачет, как ребенок. Он чего-то боялся, волновался очень — так, что не мог этого скрыть. Было такое ощущение, что душа из него вырывается.

Может, он знал, что скоро начнется штурм? Незадолго до взрыва он резко встал и ушел со своего места».

Бэлла, 12 лет

### смысл жизни

«Смысла жизни нет... Смотреть вперед страшно, думать о будущем страшно. Мы живем в вакууме. Общаемся только между собой: те, кто потерял детей. Только так мы живем. Воспоминаниями. Нас никогда не поймут другие — те, кто не терял. Если мы смеемся — не поймут, осудят: чего смеются, они же в трауре? А мы просто вспомнили что-то веселое, что вытворяли наши дети, и так радуемся, словно они живые. Потом мы все замолчим, потому что вслед за воспоминаниями придет тоска; придет и возьмет за горло...

Нас не поняли и осудили и тогда, когда женщины вышли на дорогу с фотографиями своих убитых детей. В газетах написали: они выполняют чей-то политический заказ. Смешно... Если мы и выполняем чей-то заказ, так только тех детей, что лежат на нашем кладбище.

Не достучишься до людей... Не втолкуешь, что значит потерять свое дитя. Нет, ну как объяснить, что значит: НЕТ ребенка. Это не просто нехватка детской зубной щетки в общем стаканчике в ванной...

Это крах всего. Пустота. Конец.

Первого сентября она проснулась в восемь утра. Умылась не спеша, оделась, я ей в кухне в это время жарила гренки. Она в то утро была такой красивой, в форме, какую мы еще в советские времена носили, в белом фартуке...

Такая... торжественная, что ли... Только села завтракать, как за ней прибежала соседская девочка Агунда. Всегда, всегда, когда за ней заходили подружки, она тут же срывалялась с места и убегала: чай ли недопитый, недоденный ли суп или даже любимый пирог оставался брошенным. А в то утро с ней что-то не так было. Девочка за ней забежала, они уже опаздывали, а она медленно доедала свой завтрак. До последней крошки доела гренку, медленно отхлебывала чай, до последней капли...

Я так удивилась, стала ее рассматривать, даже обошла вокруг, представляете? Она была на чем-то очень сосредоточена, какая-то неспешная, уверенная в том, что, куда нужно, не опоздает...

Тогда мы еще ничего не знали о том ее страшном пророческом стишке. О том, что ей уже был заказан билет... (*Долго молчит.*) Мы его позже найдем, когда будем обивать пороги морга...

А тогда...

Тогда я ничего не знала...

В дверях мы с ней попрощались, она меня поцеловала на прощание, это у нас ритуал такой — я ее провожаю, я ее встречаю у двери. Но в этот раз я почему-то вышла за ней на улицу, стояла и долго смотрела ей вслед. Любовалась ею. Так она вытянулась, так похорошела, совсем взрослой стала моя девочка...

Зашла домой, через полчаса какие-то хлопки. Я метнулась во двор. Уже дети бежали. «Школу захватили!» Я бегом к школе, а там уже милиция не пропускала никого. Я металась вокруг, хотела прорваться через оцепление, но не смогла. Остальное уже не помню, туман в голове...

Это соседка потом рассказала: я прибежала, села на ступеньки возле подъезда, схватилась за голову и кричала: «Я же не смогу без нее! Я не проживу без нее!» Я уже тогда поняла все... почувствовала... Что все кончено... Один миг — и вся жизнь рухнула.

Двое суток я не спала. Сидела в кресле. Ждала новостей. Муж в подвале работал: снимал решетки, двери, готовил подземный коридор для заложников — все же понимали, что если что-то случится, когда развязка наступит, дети будут бежать на улице под огнем. Наш дом метрах в ста от школы. Вот муж с солдатами-срочниками и рыл подземный ход, — чтобы дети вбежали в подвал и опасное расстояние преодолели под землей, в безопасности.

Мы все-таки ждали хорошего конца... (*Задумчиво.*)

Думали, что террористам дадут «зеленый коридор» до аэропорта — это ж километра 2–3 от школы. Мы сидели и ждали. Ужасная участь — находиться рядом с ребенком, но не иметь возможности увидеть его, успокоить, прижать к груди.

Во второй день выпускали матерей с грудничками. Мы все, как коршуны, слетались на выпущенных этих женщин: «Как наши дети?!» Вот так мы кричали, спрашивали, — они же для нас как посланники были с какого-то другого света, с другого края земли. Они видели наших детей! И вот одна из этих женщин поворачивается ко мне и говорит: «Чужих детей там нет!»

Она хотела сказать, что все дети там под присмотром, что все дети как родные, что никого не обижают. Но она сказала это так, что я сразу поняла, ЧТО там творится. Весь этот ужас хлынул на меня. Я смотрела на эту женщину и понимала, что она лжет и что ей стыдно за то, что там происходит...

Для меня Азка была всем, смыслом всего: единственный, поздний ребенок, оправдание и вознаграждение за попусту прожитые до нее годы. Она была не такая, как мы с мужем. Не по годам взрослая, умная; писала стихи, картины.

Муж мой, я сама — кулинарное заканчивали... И вдруг она — луч света, наша гордость, радость наша. Я за нее держалась так... Все возле себя, возле себя. Мы с ней очень хорошо чувствовали друг друга, словно кожей. И вот в тот момент я поняла, как плохо моей девочке сейчас.

Я почувствовала, что она окажется в самом центре, — тогда уже говорили о баскетбольных кольцах в спортзале, на которых крепилась взрывчатка. Я поняла, что она будет там. Потому что все толкались, дрались, только бы в безопасное местечко пересесть, а она... Другая она. У нее был стержень, понимаете? Про ребенка своего так вроде нескромно говорить, но я знала, что она не будет цепляться и бороться за лучшее место, видя, сколько вокруг малышей.

Представьте: сидим мы как-то с подружками, болтаем, обсуждаем кого-то — ну, как это женщины умеют делать, смеемся. Вдруг из соседней комнаты тихо выходит дочка и, качая головой, так с укоризной: «Мама, ну как тебе не стыдно сплетничать...» Мы с подругами чуть языки не проглотили, так неожиданно это было. И неловко, знаете, получается, что ребенок выше тебя, умнее... Я как-то растерялась, и единственное, что смогла сообразить, это сказать ей:

— Как ты, ребенок, можешь вмешиваться, когда взрослые разговаривают!

Она тихо так ответила:

— Я не ребенок, я прежде всего человек!

И ушла. А мы остались сидеть какие-то пристыженные.

Что вы, мне до нее далеко было... Когда она увидела, сколько детей вокруг, скольким придется погибнуть, я уверена — она выбрала бы самое опасное место. Отсадила бы какого-нибудь ребенка и села бы туда сама. В этом

была ее суть, ее глубина, понимаете? В этой волчьей стае, в этой толпе она бы не стала биться за свою жизнь. Для нее, я уверена, такой вопрос вообще не стоял: бороться ли за себя, когда рядом столько малышей было...

Когда мне потом сказали, что она с девочками-подружками (святая троица наша — Светка Цой, Эмма Хаева и наша Азка) уселась под самым кольцом, я ничуть не удивилась.

Я слишком хорошо знаю мою девочку.

Третьего сентября мы все поняли, что что-то будет. С утра началось какое-то странное движение, снайперы занимали свои позиции, проверяли точки, с которых лучше стрелять. Очень остро чувствовалось начало подготовки к чему-то.

Я хорошо помню тот первый взрыв. Мы стояли во дворе... И вдруг!.. Сердце ухнуло вслед за взрывом. И — крик. Какой-то жуткий женский крик... Побежали дети.

Мне так врезалась в память девочка... Она бежала со стороны школы: форма спущена до пояса, и голая, но уже оформленная грудь... Мы все тогда были какие-то оглушенные, ненормальные, бегали, помогали бежавшим со стороны школы детям... Мы были уверены, что все освободились.

Такое напряжение было, и вдруг этим взрывом словно плотину прорвало, облегчение настало. Мы были уверены, что она скоро прибежит домой. Но ее и к вечеру не было... Тогда мы стали искать ее по больницам. Такое радостно-тревожное возбуждение было: сейчас, наконец-то мы ее увидим! А потом...

Саша, как мы попали в морг? Вот и я не помню, как мы около морга оказались. Но я помню, как мы были впечатлены тем, сколько людей здесь было, казалось, что весь город тут. «Что они здесь делают?» — Я дергала Сашу за рукав и пыталась увидеть его глаза, как будто в них должна быть какая-то надежда, какой-то ответ. А

## Юлия Юзик

потом мы увидели две огромные машины-рефрижератора, которые въехали во двор морга. Это были тела наших детей. Я была так поражена, у меня подкосились ноги...

Такой масштаб! Эти огромные машины, набитые сгоревшими телами. Мы зашли в морг... В ряд тела детей. На улице штабелями лежали. Накрытые черным полиэтиленом. «Саша, что они здесь делают?» — Смотрю на него, а он уже лицо руками закрыл и плачет. Плечи дрожат, весь дрожит...

Невозможно это описать... Таких слов еще никто не придумал. Как передать то, что мы видели? Как передать то, что мы чувствовали? Открываешь краешек: мальчик. Закрываешь, идешь дальше. Открываешь: женщина. Закрываешь, идешь дальше. Открыли одно тело, Саша говорит: мальчик. Врач, стоящий рядом, качает головой: это не мальчик, это девочка. Представляете?.. Все вывернуто, распухло, покернело от пепла.

До сих пор эти слова звенят в ушах: «Мальчик? Нет — девочка». Вот во что превратилась наша жизнь... Каждый день мы шли в морг...

Мы искали ее день за днем, день за днем...

«Мальчик? Нет — девочка»...

В морге ее не было... Очень многие родители не находили своих детей в морге. Сходили с ума: среди живых нет, и среди мертвых нет...

Мы же не знали, что трупы наших детей тогда прятали. Выдавали дозированно. Чтобы в прессу не просочилось, сколько на самом деле они их сожгли. Порциями, понемножку, растягивали этот кошмар, этот ад на месяцы. Трупы они прятали в вагонах-рефрижераторах... Такой вот поезд смерти стоял у нас на железнодорожном вокзале, но мы тогда еще ничего не знали о его существовании...

Потом, когда прошел первый черед похорон, когда разъехались чиновники и журналисты, — вот тогда мы узнали об этих вагонах...

В них и были наши дети — не с нами, не в земле, не на небе... На товарной железнодорожной станции...

Днем тела выкладывали на товарном дворе, вечером складывали обратно. Обуглившиеся, сгоревшие почти до тла, без лица и без пола... Ошметки сгоревшего мяса. Днем они лежали под солнцем, под дождем, а вечером их складывали в холодильник. Они оттаивали, а потом вновь замораживались... В них кишили черви... За что, за что нас всех так унизили?! Так наказали?! За что они измывались над нами и нашими детьми уже и после того, как убили их, нас?

Вам, наверное, неприятно слушать эти вещи, но иначе невозможно понять масштаб того, что случилось.

Представьте, что чувствовали мы, вынужденные пройти через все круги ада, для того чтобы забрать своего ребенка... не домой, на кладбище!

Мы искали Азу три месяца... Три месяца я носила цветы к этому вагону-рефрижератору... Плакала и просила у нее прощения, за то, что до сих пор не могу ее найти.

Как мы все виноваты перед этими детьми... Как будем искупать свою вину перед ними?..

Потом мы не выдержали, взбунтовались: куда она могла подеваться? И много таких родителей было, которые не находили своих детей. И тогда было принято решение о проведении ДНК-экспертизы. Все родители сдавали свою кровь, а в ростовской судмедлаборатории проводили исследование. Мы с мужем сдали кровь, ожидали решения, когда Аза мне приснилась.

— Где ты, мы не можем тебя найти! — кричу я ей.

А она так грустно посмотрела на меня.

— Я же за стенкой, мама...

Приходят результаты из Ростова, и выясняется, что Азу похоронили наши соседи. Выходишь из подъезда — и их лоджия справа; вправду — через стенку получается. Они свою девочку с нашей перепутали.

Мы так были рады, что нашли ее! Плакали от счастья. Мы похожи на ненормальных, да? Как можно радоваться сгоревшему, искалеченному ребенку, которого тебе выдают в закрытом гробу? А мы так радовались! Потому что она вернулась к нам! Даже такой...

Мы живем тем, что встречаемся с ней на кладбище. Тем, что перечитываем ее стихи. У нас в доме тишина. Вечерами я достаю фотоальбом. Первые дни после похорон я жила только ее фотографиями, этими снимками, они на какие-то мгновения возвращали мне ее.

Перебираю ее тетрадки, книжки. Она любила Джека Лондона, «Белый клык». Я разговариваю с ней... Стою у окна и смотрю на дорожку, по которой она ушла в школу...

Все кончено... Детей у нас больше не будет.

Муж так и сказал: «Это значит: предать ее, и всю нашу жизнь прошлую предать».

А ведь мы были так счастливы...

Знаете, невыносимо, когда утром встаешь, идешь в ванную и не видишь ее зубную щетку в стаканчике. Заходишь на кухню, ставишь чайник, а на полочке ее кружка стоит. По-прежнему ждешь, представляете, полгода прошло, а все ждешь, ждешь — смеха ее, ее шагов. Но она никогда, представляете — никогда! — не зайдет больше сюда, не нальет себе чаю и не спросит меня: «Мамочка, что же ты грустишь?»

Вы вот спрашиваете, в чем смысл жизни, а я не знаю, что вам ответить. Саша, ты знаешь, ради чего живешь? И я не знаю... Из нас вынули жизнь. Сегодня надо поехать на кладбище, поменять фотографию: ночью выпал снег, так зябко на улице, а она на фотографии в летней майке. Бедная, она же совсем замерзла поди — на ветру, под снегом и дождем... (*Надолго замолкает.*)

Надо ее переодеть... Мы нашли фотографию, где она в курточке и в шапочке. Так ей будет теплее...

Кладбище... (*Растерянно.*) Оно стало смыслом нашей жизни. Пока так, я не знаю, выберемся ли мы после всего этого... Из нас вынули жизнь, смысл этой жизни... Отобрали все.

*Рита и Александр,  
родители погибшей Азы Гумецовой*

### стихи

Я уйду туда, туда,  
Где все есть и где все можно,  
Надоело больше ждать,  
Это просто невозможно!

Это все произошло  
И не рано, и не поздно,  
Потому что — навсегда.  
Потому что все так сложно.

Мне билет заказан в рай,  
И туда добраться скоро  
Первым рейсом я смогу.  
Это будет чуть попроще...

*Аза Гумецова, август 2004 г.  
Через месяц сгорит в школе №1*

# T

## три, числительное

«Я знала, что все закончится на третий день. Как этого мог не знать спецназ или президент? Все же заранее было предрешено.

Бог — троицу любит, так? А потом смотрите: Иисус три дня висел распятым на кресте. Три дня поста самые суровые перед Пасхой. Я когда подумала об этом, еще там, в школе, я поразилась: даже дни те же — среда, четверг, пятница. Я так и поняла, что мы все постимся, — кто перед смертью, а кто перед воскрешением. Это был наш Великий пост. На третий день Иисус воскрес, и закончились его мучения и страдания...

Начинался третий день, и он должен был все решить».

Бэлла Губиева, 12 лет

# V

## утешение

«Мы с мужем приняли крещение в сентябре, почти сразу после всего. Невозможно было выжить без веры. Когда мы увидели то, что осталось от наших детей... Невозможно. Сердце не разорвалось только потому, что я сказала себе: ЕЕ здесь нет, ЭТО — всего лишь оболочка, тело!

Прекратить кричать!

Это не она! Она уже в раю... Конечно, она в раю...

Как не поверить в Бога после того, что мы все увидели? Как не поверить в загробную жизнь? Неужели можно смириться с тем, что твою кровиночку, твое дитя убили, сожгли, и вот это — горстка сожженных костей — и есть твой ребенок, которого ты кормил с ложечки, держал за руку, когда он делал первые шаги, смеялся и пласал от счастья, когда он в первый раз сказал «Мама» и «Папа»...

Не поверить в Бога после такого — значит, смириться с тем, что вся твоя жизнь ничего не стоила. Разве иначе ее можно бы было так просто уничтожить?

Если думать о том, что душа неотделима от тела, можно сойти с ума. Мы бы сошли с ума, если бы не верили. Я уверена: когда мы находили наших детей в морге, мы находили просто их тела — не души!»

Эльвира, мать

# Ф

## философия

«Привет! Меня зовут Светка. Я знаю, что своими словами, наверное, напугаю вас, но мне кажется, что я должна была родиться животным. Сейчас у меня на глазах кошка съела своего котенка. Я никогда не забуду эту картину и никогда не смогу понять кошечек, но, наверное, тем, что они съедают свои детёныши, они оберегают их от чего-то более ужасного? Может быть, когда-нибудь я пойму эту философию, но сейчас для меня это слишком сложно. Конечно, я понимаю, что это тяжело — есть своего ребенка, но ведь она явно сделала это неспроста».

*Из личного дневника 12-летней Светы Цой, сгоревшей 3 сентября при штурме школы №1*

# Х

## хлеб

«О какой еде вы говорите?! Мы были голодными: максимум, что могли себе позволить, — несколько глотков воды, и все. Кусок в горло не лез. Вторые сутки мы дежурили возле школы с валидолом в руках. Какая уж тут еда... Ее не было у наших детей, а мы хотели принять на себя хоть частичку их страданий...»

И вот я вдруг вижу женщину. Сидит себе в нашем импровизированном родительском штабе, причитает о своем сыне. А потом... Запускает руку в прихваченный с собой пакет, вытаскивает булку хлеба, отламывает ломтик и жадно впивается в него зубами... Белая воздушная мякоть, румяная корочка, запах, разливающийся вокруг...

И она рвет, рвет зубами эту душистую хлебную плоть...

Вы представляете? У этой из набитого рта так и сыплются крошки, а моя дочь в это время погибает оттого, что у нее нет капли воды и крошки этого самого хлеба! Как же эта сволочь может вот так запихиваться им, когда в нескольких метрах от нее умирают дети?!

От усталости и голода я и сама падаю с ног. И вот, когда я вижу этот хлеб... То, как она запихивает его в рот... У меня в глазах темнеет от ненависти. Рука рассекает воздух, уже приближаясь к ее лицу, и вдруг... Кто-то рядом перехватывает мою руку: «Бог ей судья!»

*Марина, мать*

## Ц

## цена

«Я родила их рано, в двадцать лет... Только во время беременности узнала, что муж — наркоман. Он сидел на героине. А я ничего не знала, ни когда замуж выходила, ни когда забеременела... Глупая девчонка, молодая, влюбленная... Я их родила недоношенными, так боялась, что больными рождаются! Ничего, все обошлось вроде. Красивые мальчики-близнецы... Ой, правда, они у меня такими красивыми получились: глазища черные, огромные, — когда я с ними гуляла, на них на улице оборачивались.

И я думала про себя: с мужем не повезло, так хоть детьми Бог меня наградил...

Он кололся, все деньги на наркотики уходили... Придет домой — глаза стеклянные, вены синие... Какие дети? Ему ничего не надо было!..

Я ушла, когда им исполнилось 11 месяцев. Собрала все свои пожитки и закрыла за собой дверь. Брат моего мужа очень полюбил этих мальчиков, очень переживал мой уход: за несколько месяцев поседел полностью. Я вот вспоминаю то время и думаю, что он единственный в той семье понимал, что произошло. Что они потеряли навсегда — сыновей, внуков...

Первое время тяжело было. Еле концы с концами сводила. К родителям не могла вернуться: гордая была. Сняла квартирку. Плохую квартирку, бедную. Откуда деньги взять было? Потом я больше чем на год уехала из Осетии в Киев. Меня один из братьев забрал с собой: он видел, как тяжело мне было. Снял мне хорошую квартиру в Киеве, деньгами здорово помог. Пока мальчикам по два

года не исполнилось, я там и жила... Хорошее время было... Я все время была с ними... Видите? Это осень, я гуляю с ними в парке. (Показывает фотографию.) Правда, красиво? (Задумчиво.) Самая красивая осень в моей жизни...

Когда им исполнилось два года, я решила вернуться в Беслан. Все-таки это мой город, я здесь родилась, выросла. Меня тянуло домой. Нужно было искать работу, не век же на шее у брата сидеть. Вот мы и вернулись.

Почти сразу вышла на работу: я парикмахер, арендовала маленький салон и начала работать. Мальчики почти все время были у моей матери. Вечером после работы я старалась забрать их домой. Я много работала... Очень много... С утра до вечера — стрижу, стрижу, стрижу... Дотемна работаю... Ноги болят, к вечеру — ни живая ни мертвая...

Мне надо было платить, за все платить... За квартиру, за аренду парикмахерской... Детей накормить, себя накормить. Обуть-одеть.

За эту жизнь я платила...

Понимаете, у этих мальчиков не было ничего: ни своего дома, ни отца, ни нормальной семьи. Я старалась сделать так, чтобы они не чувствовали себя обделенными. Я вкалывала, чтобы у них были хорошие игрушки, хорошая одежда; чтобы они не завидовали другим детям, у которых все это было...

Они росли у моих родителей. Последние два года они только у них почти и жили. Уроки в школе закончатся, они ко мне в салон прибегают:

— Ма-ам, пошли домой!

А как «домой»? Как я работу брошу? Отвечаю:

— Если я пойду сейчас домой, кто нам даст денег на квартиру, на зимние куртки, на конфеты? Если я пойду домой, где мы завтра окажемся, на улице?

Они понурые такие становились. Посидят со мной, посидят и к матери моей идут. А что делать?

Юлия Юзик

Они уже взрослые мальчики были, они все понимали... Однажды нас выставили вон из квартиры на улицу. Им года три было, наверное, а я с ними на руках на лавочке ночь ночевала. Осень уже была — не та, красивая, киевская, наша — сырая, промозгшая... В одеялко их укутала, к себе прижала, вот так и спали...

Мальчики мои знали, что такое нужда... Они помнили, как я с ними на улице ночевала...

Жизнь... (*Задумчиво.*) За эту жизнь я платила высокую цену...

Думаете, я не скучала по ним?.. Не понимала, что после работы нужно встретить детей у школы, привести домой, накормить их горячим обедом?.. Думаете, я не знала всего этого? (*Встает и отходит к окну.*) Но у них не было дома!.. Мне некуда было вести их после школы... Я хотела купить квартиру, свою, просторную квартиру... Чтобы эти дети шли к себе, понимаете, к себе домой!..

*(Смотрит куда-то вдаль и тихо плачет.)*

Я говорила себе: еще немного, еще чуть-чуть... Представьте, каждый месяц из зарплаты я платила за квартиру, за аренду салона, покупала детям вещи, оставляла на жизнь и еще умудрялась откладывать деньги на покупку квартиры.

Я работала как проклятая. Закрывала салон часов в десять вечера, сама убирала мусор, мела и мыла пол... Смотрите (*закатывает брюки*), — я десять лет стою на ногах с утра до ночи, видите, какой варикоз? (*Показывает на синие крученые вены.*) Мне всего тридцать лет, а я уже никогда не смогу одеть юбку и каблуки... Я уграбила свою молодость, свое здоровье...

Да, за эту жизнь я платила сполна...

Я приходила домой около полуночи, а иногда, когда некуда было идти, я спала прямо в салоне, на старом узком диванчике. Мои дети были накормлены, спали на нормальных кроватях, поэтому я была спокойна...

Хотя... Что значит спокойна? Несколько лет назад моя родная сестра развелась с мужем и вернулась в родительский дом. Ей позволили вернуться. Она моих мальчиков не любила, очень ревновала мать к моим детям: видела, что их она любит больше, вот и отрывалась на моих.

И вот как-то стригу я клиентку, дверь открывается, и на пороге мои мальчики стоят в слезах. Что такое? Что случилось?

Они ревут. Мальчики мои, боевые, сильные ребята — ревут, как девчонки. Я извинилась перед клиенткой, отвела их в сторону.

— Что произошло?

— Мама, куда нам идти? Нас Анжела выгнала из дома, пока бабушки нет. Сказала: пи...уйте отсюда к своей матери и больше не возвращайтесь.

И стоят с пакетами в руках. Трусы, рубашки свои собрали и приехали ко мне. А куда им идти? Я все время на работе, их даже некому покормить было после занятий... Вот они и возвращались обратно, к моей матери.

...Это больно все вспоминать...

И первого сентября я не пошла с ними в школу... С вечера много заказов было, все перед праздничной линейкой делали себе прически, маникюры, укладки. Я могла хорошо заработать за эти два дня, самые денежные дни были. Мать звонит: не ходи, работай, Анжела все равно своего в школу ведет, вот и Сос с Асланом с ней сходят... Они просили меня, чтобы я пошла с ними... А я говорю: «Ну что вы, маленькие, что ли? Линейка полчаса, и домой... Я заработаю за этот день столько, сколько за весь месяц...»

*(Стоит у окна, смотрит куда-то вдаль и долго молчит.)*

Юлия Юзик

Когда школу захватили, я бежала к ним, как ненормальная... Чуть сердце не вылетело из груди... Меня солдаты схватили и не пускают. Я кричу: там мои сыновья, там мои мальчики.

Три дня... Как на карусели: все перед глазами проплывает, все кружится, качается... Никакой надежды... Они не вернутся больше никогда... Я это сразу поняла...

...Ни-ког-да (задумчиво).

Третьего сентября сестра из школы на своих ногах прибежала... Сын ее вместе с ней: на нем и царапинки нет... А моих — нет... «Где они?» — кричу. Она: «Ой, а я и не помню, где они сидели, разбрелись по спортзалу, я за своим смотрела...»

За эту ночь я едва не поседела. Сидела и не могла зевнуться. Знаете, я все поняла за эти три дня... (Ходит по комнате.)

«Столько за этот день заработка», — так я им сказала. (Растерянно, испуганно.)

И они ушли одни... (Долго молчит.)

Четвертого утром я встала и сразу поехала в морг... Захожу во двор. И тут меня начинает трясти... Дети... Кто без ноги, кто без руки, кто без головы... Я остолбенела. Понимаете, я знала к тому времени, что погибших будет много, но к такому я не была готова... Черные, изголоданные огнем кости... Запах гниющих тел...

И среди такого мне нужно было искать своих мальчиков. Мне как-то так представлялось, что раз они близнецы, то и лежать должны вместе. Ну, вот так — рядышком. Как две половинки одного целого...

Асику я почти сразу и увидела. Он сгоревший был, но лицо сохранилось. Легко узнать было. Я подошла к нему, села рядом...

Что вы, какие слова... Я не знаю, не знаю таких слов...

Вот жизнь твоя, — бежишь, скребешься, надеешься, думаешь: чуть-чуть, чуть-чуть до счастья осталось!.. Потерпеть, стиснуть зубы... Деньги, квартира... (Рыдает.) А может, им и не нужна была эта квартира! Эти чертовы деньги!.. Может, они меня ждали, ждали, что я встречу их у школы, накормлю горячим супом и пойду с ними домой...

Какой есть дом... Пусть не свой, какая разница, черт возьми?! Дом — это там, где мать... Там, где тебя ждут... Согреют, накормят... (Плачет.)

Почему я не понимала этого — тогда?

Знаете, как мы спали? Втроем на одном диване. Я думала: Боже, как тесно! Втроем на одном диване. Один рядом ложился, другой «валетом». А я не понимала, какое это счастье — когда они рядом, и спят со мной на одном диване...

Хотите, я расскажу вам, как я искала Сосу четвертого сентября? Его среди опознаваемых не было, пришлось искать среди сгоревших... И я... Если видела тело... Похожее на него ростом... Я ложилась рядом и мерила: докуда пятки его дотянутся.

Он спал «валетом», и его пяточки вот сюда упирались (проводит ладонью до подмышечной впадины).

На меня смотрели, как на ненормальную. А я уже ничего не понимала, не чувствовала. Ложилась рядом прямо на голую землю, ноги вытягивала и смотрела — мой это мальчик или не мой...

Вот такое наказание Бог для меня придумал... Но один раз и мне плохо стало... Я легла, а на меня черви заползли... Белые, толстые... (Передергивает плечами.) Они были повсюду... (Закрывает лицо руками.) Они ползали по нашим детям и расползались по земле, к самому забору... Дети лежали под открытым небом... И матери, которые искали своих детей, видели все это... И черви ползали по ним...

Как больно...

Я нашла только одного мальчика, похожего на Сосику. Он по росту был похож. Пяточки вот сюда упирались... Как во сне все... Вспоминаю как сон... Но я хочу рассказать вам все до конца. Сколько вам лет? А мне тридцать. Я хочу, чтобы вы знали, какой бывает жизнь, какая она странная, непостижимая, эта жизнь...

Я говорила о том, что нашла мальчика, похожего на моего. Он был сгоревшим — как черная головешка.

Три дня назад мои мальчики мерили черные костюмы с белоснежной рубашкой, галстуком, — и вот я смотрела на них и самой себе завидовала. Какие красивые! Какие сильные! На них на улице оборачивались... Я смотрела на них, когда они примеряли костюмы, и думала: ну вот, мои мужчины уже почти выросли...

Три дня... Три дня всего... И вот я лежу на голой земле, вытянувшись по струнке вдоль черного, обуглившегося скелета...

Как такое возможно, скажите?

Я долго сидела над тем тельцем... Не могла понять: он это или нет? Потом смотрю: а в паху остался крохотный кусочек несгоревшей ткани. Я его аккуратно достала, смотрю: знакомый рисунок. Я несколько пар таких трусов в конце августа купила.

Звоню отцу.

— Папа! Папа! Срочно найди трусы, которые я недавно им купила. В шкафу, на средней полке.

Он роется в шкафу, чертыхается.

— Нашел!

— Давай рисунок сверять. Белый фон, на нем вразброс: слонята...

— Слонята, — подтверждает он.

— Тигры...

— Тигры, — голос у него все тише и тише.

— Рыжий жираф...

— Жираф... жираф, — и всхлипывания.

Отец приехал с этими трусами, в ладошке зажатыми, прямо в морг. Не приехал — примчался! Стоим мы над этим мальчиком, разглядываем тот клочок, что на нем остался, и громко плачем.

...Мой папа так рыдал тогда, — я его никогда не видела плачущим, а тут сел на колени прямо в грязь... прямо перед этим телом... Руки к небу поднял, и как начал кричать...

Страшно, когда мужчины плачут... Женщины — как-то привычно... А когда рыдает мужчина, сразу хочется умереть: значит, уже никакой надежды...

(Долго молчит.)

Представляете, мы все-таки ошиблись... Это был не он. Мы чужого мальчика приняли за своего. Соседка наша в том же гастрономе покупала точно такие трусы своему мальчику — сверстнику Соса, и точно в таких же трусах он ушел 1 сентября в школу.

А знаете, почему мы все-таки похоронили не своего? Когда я нашла этого мальчика — и по росту подходящего, и в таких же трусиках, — я в первый раз за десять с лишним лет заговорила с бывшим мужем. «Умоляю, сдай кровь на ДНК, я не могу быть уверенной, он весь сгорев-

ший...» И через пару дней он звонит: да, сдал, это наш. Я поверила и забрала того мальчика из морга домой.

А через месяц почти: «Вы похоронили не своего ребенка, ваш еще не найден»... Он обманул меня, обманул своего сына — не сдал кровь. Боялся, что врачи узнают, что он наркоман, представляете? Даже после смерти сына отец ничего не смог сделать для него...

Потом вновь долгие поиски, ожидание... Выкопали того мальчика, которого похоронили вместо своего, и на кладбище стояла пустая, разрытая могила, с именем моего сына.

И вот снится мне сон. Я вижу, как он стоит напротив и просто смотрит на меня. Грустно-грустно.

— Что ты так на меня смотришь? — спрашиваю я.

— Просто. Мам, я же могу просто смотреть на тебя?! — кричит, плачет, и я просыпаюсь.

У меня сердце разрывалось на части. Сорок дней прошло со дня его смерти, но нигде его не было — ни среди живых, ни среди мертвых. И вот ровно на сороковой день нам звонят из Ростова: ваш мальчик опознан. Мы радовались, как ненормальные. И я даже не удивилась, что он нашелся именно в сороковине. Он такой был... Как сказать... Любил всякие неожиданные сюрпризы... Везучий вообще был... Из любой ситуации находил выход. И даже в смерти таким остался.

Из Ростовской 124-й лаборатории гроб привезли... Цинковый гроб, закрытый... Десять лет туда возили трупы солдат из Чечни, а теперь — наших детей.

Я не захотела хоронить своего десятилетнего мальчика в цинке. Цинк — это война. Похоронки. Это все так не по-детски, да? Не знаю, почему, но я не могу даже смотреть на этот цинк...

Я заказала красивый деревянный гроб и попросила открыть этот цинк.

(Закрывает рот рукой и долго молчит.) Половины руки не было, вся верхняя часть — туловище, голова — была закрыта марлей. Я не стала ее раскрывать всю. Только ноги посмотрела. Точнее — с них начала, а дальше уже просто не смогла...

Видели, как выглядит жареная курица? Представьте, вот вы зажарили ее на сильном таком огне, а потом поставили в духовку хорошенко пропариться градусов так на 200. Вот так и мальчик мой выглядел... Мясо от кости отделилось, и косточка вместе с коленкой вывернута наружу была...

Мой маленький солдат... (Плачет.) Принял бой и погиб в огне...

Первые месяцы я на кладбище жила, даже ночевала там. А что? Вся моя жизнь теперь на кладбище — Сосик и Асик, — два моих красивых мальчика.

Я уволилась после всего этого с работы... Зачем мне теперь дом? Я живу в квартире родственников, иногда, раз в несколько дней, спускаюсь вниз за продуктами.

Я не могу видеть людей. Меня тошнит от людей. Пустые разговоры, тщеславие, пустая жизнь... Они не знают, как легко потерять все. Не знают, что деньги на самом деле ничто... Бумага...

Она не вернет мне моих сыновей...

Вчера я купила красный рододендрон, знаете, это такое красивое вечнозеленое деревце... Сегодня поеду на кладбище, посаджу его рядом с моими мальчиками... Хочется, чтобы их дом был нарядным, красивым... Мне так хорошо, так покойно сидеть с ними, разговаривать... Я прошу прощения у них... Я все время с ними: никого, никого теперь нет, кроме них.

Я думаю: Боже, что должно было произойти, чтобы я вернулась к ним, к своим детям... Я должна была поте-

рять их, для того чтобы понять, что ничего ценнее и дороже их в моей жизни не было и нет.

...Я прихожу и сижу с ними часами. А дома меня никто не ждет теперь, вся моя жизнь теперь под этими вот камнями...

Кого я могу винить? Только себя. Я должна была быть с ними, и сгореть должны мы были вместе, чтобы не мучиться вот так вот, поодиночке.

Я — мать, и я должна была быть с ними. И в жизни, и в смерти. Тогда бы мы лежали сейчас втроем и были бы спокойны, счастливы и безмятежны...»

Залина, мать

# Ч

## числительное (68)

«Когда бородатый боевик — он был главным среди них, — разговаривал с кем-то по мобильному, он сказал: «У меня с собой 68 человек». Я думаю, что как раз-таки 68 человек и могли держать под контролем такую огромную школу, контролировать и зал с заложниками, два этажа и все подходы к ней. А вот 32 — это нереально, даже смешно...»

Зарина Дзампаева, заложница

## чужие

«31 августа жара стояла невыносимая. Дышать нечем было. И к вечеру все — и взрослые, и дети, и старики — высыпали во двор. У нас принято так — если хорошая погода, все вечером во двор выходят. Разговариваем, общаемся, можем и песни попеть, и плов приготовить. Прямо во дворе огонь разведем, казан вынесем, туда баранинки покидаем, риса, морковки, лука, пряностей — у-у-у! такой аромат! Вместе готовим, вместе угощаемся... Мы дружный народ, беззаботный...»

В тот вечер Зайка наша сидела с подружками в беседке; все дети смеялись, а она одна грустила... Мы с женщинами на скамейках во дворе сидели, когда — раз! — парень какой-то незнакомый через двор к школе прошел.

И опять — выглядел так же, как и остальные, которых мы в последнее время в Беслане видели: молодой,рослый, в майке и спортивных штанах.

— Чего они расходились тут? Какие-то приезжие, и все около нашей школы крутятся... — вот так мы поворчали тогда.

Но, честно, кто мог подумать, что это боевики? Думали — приезжие рабочие, ремонт в школе делают.

Примерно за месяц до теракта, в начале августа, среди нас какие-то чужаки появились. Их повсюду видели. Город крошечный, все друг друга в лицо знают, поэтому их, незнакомцев, сразу все и заметили.

А одного из них — рыжего — многие очень хорошо запомнили. Ну, а то — самый заметный из всех! Огненно-рыжие волосы и такая же рыжая борода. Я даже знаю, где он жил: в квартире одного наркомана, неподалеку отсюда. В одном доме с Вовой Томаевым. Этот рыжий примерно за месяц до теракта поселился в Беслане.

Вова Томаев рассказывал, что в августе случай такой был... Жена его Зина пришла с работы, а дочки дома нет, — Вова ее в магазин за чем-то послал. Зина так рассердила:

— Не пускай ее одну, ты что, не знаешь, что у наркомана какие-то странные бородатые мужики поселились? Исчезнет ребенок вместе с ними, где ты их потом найдешь.

Вова всполошился, и когда дочка пришла, сказал, чтобы она подальше от бородачей держалась. А она рассмеялась:

— Они такие ласковые, папа, ты их не бойся! Рыжий бородач меня конфетами угождал, он такой добрый!

3 сентября и дочка, и беременная Вовина жена погибли в школе. А наркоман сразу после теракта исчез, так что у него теперь и не спросишь ничего.

Ой, а вы думаете, только у него одного они жили? Это просто рыжий больно заметный был, и жил рядом со школой. А так они по всему городу расселились. Квартиры снимали, у кого-то в частных домах жили, некоторые в школе обосновались. Их же тут многие видели!

Одного из боевиков, например, одна заложница опознала: в городе на рынке он советовал ей, какой видеомагнитофон купить. Не местный он был, поэтому она его так хорошо запомнила.

Они среди нас жили, а мы их не знали.

Они среди нас ходили, присматривались, местность изучали. Все дворы и закоулки выучили. Ими они потом и ушли. А мы ни о чем не догадывались... Знаете, я такое в передаче «В мире животных» видела: козочки у водопоя водичку пьют, на солнышке млеют, а за ними из кустов стая львов наблюдает. Козочки добрые, бестолковые, ни о чем не думают, — поэтому через несколько секунд львы порвут их на мелкие кусочки...

Светлана Албегова, бабушка



### шахидки

«Когда нас загоняли в школу, я увидела двух шахидок. То есть я увидела обычных высоких девушек, укутанных во все черное: только глаза было видно. Большие красивые и очень грустные глаза...

У них в руках было по пистолету, а на поясе — моток чего-то... Когда я их увидела, сразу поняла, кто они. По телевизору столько про шахидок говорили, показывали, как они выглядят: будто специально для того, чтобы люди узнали их, когда увидят.

Они мне даже понравились. Очень спокойные, печальные... Когда я отпросилась в туалет, то, пописав, быстро подбежала к крану и стала пить воду. Вдруг вижу: она зашла, стоит, смотрит на меня и пистолет в руке держит.

Я испугалась:

— Тетенька, пожалуйста!..

Она палец к губам поднесла и тихо так:

— Пей, пей быстрей, пока они не видят.

Так она и стояла в дверях, пока я и другие дети пили. Как будто охраняла нас от боевиков.

Я напилась и побежала в зал. «Спасибо», — говорю. А она молча кивнула. Глаза такие красивые и грустные-грустные...

Дзера, заложница

«Первого вечером я выводила в туалет чужого ребенка. И как раз в тот момент, когда мы возвращались, идя по коридору, я увидела одну из шахидок. Какой-то боевик автоматом заталкивал ее в класс, а она кричала на русском языке: «Вы же говорили, что отдел милиции! Вы же сказали, что милиция!»

По-моему, у нее была самая настоящая истерика. Когда я на секунду задержалась в коридоре, глядя на нее, боевик, стоявший рядом, грубо окликнул меня: «Чего смотришь, иди, куда шла!»

Я вернулась в зал, и буквально минут через десять раздался оглушительный взрыв! Нас даже тряхнуло. Кто-то сказал, что это подорвали шахидку. Ее закрыли в классе, а потом дистанционным управлением взорвали».

Алла Рамонова, заложница

### школьная тетрадь

«Мое имя — Аслан.

Моя фамилия — Кисиев.

Имя папы — Артур.

Имя мамы — Марина.

Мы живем в городе Беслане.

Русский поэт — А.С.Пушкин».

Из школьной тетради ученика 1-а класса средней школы №1 Кисиева Аслана.

(Погиб 3 сентября при штурме; двумя днями раньше, 1 сентября, террористами был расстрелян его отец.)

### штурм

«Боевики устали... Спецназ устал... Все устали... Нужно начинать штурм».

Из игры шестилетних детей, побывавших заложниками в школе №1 г. Беслана

# 3

**эластодерм**

«После ожогов и операций у сестренки все тело в уродливых рубцах и швах. Нам прописали такой специальный пластырь — называется «Эластодерм». Такая, знаете, силиконовая пленка, она наносится на шрам, покрывает его, и рубцы быстрее рассасываются и сглаживаются. Жутко дорогая для нас вещь. Наш, российский, дешевле, но менее эффективен, приходится покупать английский аналог. Две тысячи рублей упаковка, а у Альки же все тело сплошной шов, ей не одна, а две упаковки сразу нужны. Хватает на 1—2 месяца, и потом все заново... Без этих пластырей что будет? Останется у Альки изуродованным тело. Навсегда. Как напоминание на всю жизнь о том кошмаре. Вырастет она и на пляже никогда не разденется. Комплексы на всю жизнь. Ожоговые шрамы вызывают у людей отвращение...»

Не хочется, чтобы Алька вызывала в людях неприязнь и жалость. Поэтому мы разоряемся на этот «Эластодерм», трясем дядю, родственников, чтобы они помогли нам деньгами. Этими пластырями клеить нам Альку еще год-полтора.

Рубцы сглаживаются, и появляется надежда...»

Даша Фадеева,  
сестра выжившей в школе Али Фадеевой (9 лет)

# Ю

**юродивый**

«Сразу после трагедии в Беслан приезжали монашки и рассказали о старце из Соловков. Он юродивый, а про таких говорят, что они с самим Богом разговаривают. Так вот, после теракта ему видение было... Он и нам просил передать его послание... Старец сказал, что наши дети еще перед своим рождением обещали Господу принести себя в жертву, чтобы искупить грехи, которые совершило человечество за последние десятилетия.

В этом и был божественный смысл их мученической гибели. Иисус ведь тоже был распят за всех нас на кресте, а после вознесся на небеса. Ну, вы же знаете эту историю.

Тот старец сказал, что наши дети с самого рождения несли на себе эту печать печали.

Когда монашки рассказали эту историю, дрожь по телу пошла. А потом, знаете, у нас есть основания верить этому старцу... Многие дети незадолго до 1 сентября предчувствовали свою смерть. Конечно, они ничего не говорили про свою миссию, но чувствовали приближение конца: Аза написала стихотворение о том, что скоро уйдет в рай; один из близнецов Бероевых в августе сказал маме, что скоро умрет. Рисунки, стихи... Ой, если все это сейчас начать вспоминать, можно сойти с ума! Просто откройте Библию, почитайте, вы все поймете...»

Рита, мать

# Я

## ярость

«С позиции христианской морали я, наверное, неправа. Но я часто повторяю: девочки, вот увидите, придет время, и суд над этими людьми обязательно состоится. Этих людей мы не видим, не знаем и не узнаем никогда. Мы, скорее всего, не увидим, когда и как будет вершиться этот суд. Но я свято верю, что это произойдет.

Я все пытаюсь обрести смиренение, я ищу его в религии, но моя ярость столь сильна, что я все равно не могу не думать о возмездии. Не могу не ждать его. Я — настоящая львица. Когда на моих глазах обзывают ребенка, я могу руками растерзать обидчика. Это чувство — что ты дрался, боролся, — оно принесло бы хоть какое-то удовлетворение. Но мы не могли драться! Мы не могли кинуться в бой за своего детеныша! Поэтому теперь нас изнутри разрывает эта ярость, этот гнев. Я иногда обращаюсь к Господу: ну неужели ты не накажешь их?

И сама себе отвечаю: конечно, накажет. Суд над теми, кто устроил эту массовую казнь, обязательно наступит. Потому что слишком безнаказанным стал чувствовать себя человек на земле.

Еще я думаю вот о чем... Не считите за сумасшедшую, — я мыслю трезво, как никогда. Я думаю, что сами дети не оставят это безнаказанным. Они будут очень многим людям помогать своей доброй энергией, делиться своим светом — с вами, с другими людьми, с детьми и взрослыми, в Осетии и во всем мире, — что для Бога и его ангелов географические границы? Но в то же время они все расставят по своим местам. Им же сейчас все видно — все наши грехи, поступки, мысли... Они укажут Богу на тех, кто творит беззакония...

Это мы здесь, в Беслане, уже привыкли к кладбищу, мы ходим туда каждый день и чувствуем там себя как дома, но недавно — совершенно случайно — я включила телевизор и увидела кадры: наше кладбище сняли сверху, с высоты птичьего полета... Я через стекло экрана почувствовала такую силу, такую энергию! Мне показалось, что сейчас кровь в висках просто разорвет мне голову!

И как все это — вот это кладбище, вот этих детей — списать на какой-то абстрактный терроризм?! Что такое терроризм?! Это ведь мы сами, сами все это делаем!

И поэтому Бог спросит со всех нас за этих детей...»

Марина, мать

Юлия Юзик  
БЕСЛАНСКИЙ СЛОВАРЬ

*Редактор*  
Игорь Захаров

*Верстка*  
Кирилл Лачугин

ISBN 5-8159-0585-2



9 785815 905856

*Директор издательства* Ирина Евг. Богат

Издатель Захаров  
Лицензия ЛР № 065779 от 1 апреля 1998 г.  
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9  
(Рядом с Никитскими Воротами,  
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

Наш сайт: [www.zakharov.ru](http://www.zakharov.ru)  
E-mail: [zakharov@dataforce.net](mailto:zakharov@dataforce.net)

Подписано в печать 02.02.2006. Формат 84×108<sup>1/32</sup>.  
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая.  
Усл. печ. л. 8,4. Тираж 5000 экз. Изд. № 585. Заказ № 66.

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»  
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.  
<http://www.uralprint.ru> e-mail: [book@uralprint.ru](mailto:book@uralprint.ru)